

КЛАССИКА ДЕТЕКТИВА



ГИЛБЕРТ ЧЕСТЕРТОН



Чисто английские преступления!

★
РАССЛЕДОВАНИЕ
★
ОТЦА БРАУНА



Классика детектива (АСТ)

Гилберт Честертон
**Расследование отца
Брауна (сборник)**

«АСТ»

УДК 821.111-312.4
ББК 84(4Вел)-44

Честертон Г. К.

Расследование отца Брауна (сборник) / Г. К. Честертон —
«АСТ», — (Классика детектива (АСТ))

ISBN 978-5-17-089488-8

Рассказы об отце Брауне – это маленькие шедевры британского классического детектива, ставшие настоящим литературным феноменом. Об этом герое писали пьесы, сочиняли мюзиклы и даже рисовали комиксы. Рассказы Честертон не раз экранизировали в Англии и США, Германии и Италии, и неизменно экранизациям сопутствовал успех. И до сих пор читатели во всем мире снова и снова восхищаются проницательностью знаменитого патера. Многие рассказы печатаются в переводах, подготовленных специально к этому изданию!

УДК 821.111-312.4
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-089488-8

© Честертон Г. К.
© АСТ

Содержание

Печаль отца Брауна	6
Неведение отца Брауна	9
Сапфировый крест	9
Сокровенный сад	19
Странные шаги	31
Летучие звезды	45
Невидимка	54
Честь Изрэела Гау	63
Неверный контур	70
Грехи графа Сарадина	80
Молот Господень	92
Око Аполлона	101
Сломанная шпага	109
Три орудия смерти	120
Мудрость отца Брауна	129
Отсутствие мистера Кана	129
Конец ознакомительного фрагмента.	132

Гилберт Честертон

Расследование отца Брауна

Серийное оформление и компьютерный дизайн В. Половцева

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Печаль отца Брауна

Н.Л. Трауберг

Честертон выходит обычно с какой-нибудь аннотацией. Они меняются. Готовя первое свободное издание, худлитовский трехтомник 1990 года, пришлось писать очень много, восполняя то, что раньше скрывали. Теперь можно обойтись без ликбеза – есть где почитать и о Честертоне, и о христианстве. Однако в многочисленные статьи вошло не все, о чем стоит подумать, если взялся за этого странного писателя. Станный он не потому, что «эксцентричный». Ни эксцентрика, ни склонность к игре уже никого не удивляют. Писатели последних десятилетий намного превзошли в этом Честертон, но строчка из стихотворного письма Мориса Бэринга так же верна, как и в 1907 году:

Таких, как вы, в Европе больше нет.

Сменились сотни мод и традиций, но «таких» – по-прежнему нет даже среди прославленных апологетов христианства, писавших позже, чем он. Если сопоставить его хотя бы с К. С. Льюисом, почувствуешь, что Льюис поприличней, посерьезней, можно сказать – повзрослей.

При всей любви к Льюису, Дороти Сэйерс, Чарльзу Уильямсу я вынуждена признать, что Честертон резче и явственней их всех противостоит стереотипам «мира сего». Не случайно его сравнивают и с юродивыми, и с блаженными в евангельском смысле слова. Одно из обычных для него несоответствий «миру» – сочетание свойств, которые считают несовместимыми и даже противоположными. Собственно, весь брауновский цикл стоит на сочетании простодушия с мудростью.

Не случайно первый сборник называется «The Innocence of Father Brown», второй – «The Wisdom of Father Brown», а биография Честертон, написанная Джоном Пирсом, – «Wisdom and Innocence».

Сочетание это исключительно важно. Для Честертон оно было открытием. В 1904 году он встретился у общих знакомым с отцом Джоном О'Коннором. Какие-то молодые люди, снисходительно признавая достоинства веры, сокрушались о том, что священники не знают темных сторон жизни. Позже Честертон пошел гулять со священником и был поражен тем, какие глубины зла тот знает. В первом же рассказе об отце Брауне про это сказано так:

«Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают».

Название первого сборника переводили по-разному в 1920-х годах. Были и «Простодушие», и «Невинность». Слово *innocence* содержит эти значения, но теперь привилось «Неведение»¹, может быть – чтобы подчеркнуть линию, противоположную мудрости.

Однако сейчас я хотела поговорить о другом сочетании свойств, не главном для цикла, но тоже очень важном. В церковнославянском языке есть слово «радостоскорбие». Честертону оно бы очень подошло.

Принято считать его оптимистом. Об этом сейчас говорить не буду, он сам неоднократно отвечал на такие обвинения. Но все-таки его, а не кого-нибудь другого называют «Учителем надежды».

Мы уйдем далеко, уточняя различие между бодрым, бесчувственным невниманием к скорби и злу и такой по-христиански странной добродетелью, как надежда. Сейчас подчеркнем одно: жизнерадостность Честертон достаточно заметна. Многих она раздражает. Одни не верят ей, другие – завидуют, третьим она кажется кощунственной, что было бы правдой, если бы он был кем-то вроде сэра Аарона из «Трех орудий смерти». Но вот что, к большой нашей радости, пишет он в этом рассказе:

¹ Предложила его Раиса Померанцева, редактор сборника 1958 года. – *Примеч. Н. Трауберг.*

«— Как? – вскричал Мертон. – А наслаждение жизнью, которое он исповедовал?

– Это жестокое исповедание, – сказал священник. – Почему бы ему не поплакать, как плакали его предки?»

Сам Честертон знал печаль, а может быть – и плакал. Во всяком случае, он напоминает в одном эссе о том, что и в Писании, и в истории мужчины слез не стыдились. Плакал ли отец Браун, мы не знаем, но бодрячком он точно не был. В отличие от многих наших неопитов, он не путал с радостью то, что Честертон назвал «оскорбительным оптимизмом за чужой счет».

Чтобы рассказать о том, когда и почему он печалился, попробую сперва немного отойти в сторону.

Самый прочный предрассудок религиозных людей связан с тем, что называют «непротивлением злу». Слова эти подсказывают уничтожающий ответ: а что же, по-вашему, христиане злу не противятся? По-видимому, согласиться с тем, что неприятие зла и насильственная борьба с ним – не одно и то же, слишком неудобно. Действительно, тело отдадут на сожжение, а от «добра с кулаками» не откажутся.

Кто не слышал, с каким наслаждением рассказывают о том или ином возмездии? Кроме прямого зла – злорадства, здесь есть и резонная тяга к справедливости, но толкуется она и решается совершенно по-мирски, словно нет ни притчи о плевелах, ни беседы в самарянском селении. Других мест из Евангелия приводить не буду. Каждый не только может прочитать их, но и, несомненно, читал. В тех слоях сознания и подсознания, где живут удобные стереотипы, получается примерно вот что: или тебе безразлично зло, или ты борешься с ним так, словно в 10-й главе от Матфея сказано не «овцы», а «волкодавы». Равнодушия к злу у Честертона и отца Брауна вроде бы нет. Зачем неуклюжий и тихий священник вмешивается во все эти дела, если зло ему безразлично? В его реакции иногда слышишь гнев (не злобу!), но особенно сильна в ней печаль. Редко встретишь такое точное изображение печали, прямо противоположной ее подобиям, от каприза до отчаяния, как в рассказе «Око Аполлона»: «Отец Браун сидел тихо и глядел в пол, словно стыдился чего-то», «морщась как от боли».

Пока он так сидит, сюжет движется, преступник обнаружен, и вдруг на вопрос друга:

«Схватить его?» – «Нет, пусть идет, – сказал отец Браун и вздохнул так глубоко, словно печаль его всколыхнула глубины Вселенной. – Пусть Каин идет, он – Божий».

Очень полезно посмотреть рассказы, замечая, что делает с преступником отец Браун, раскрывший преступление. Герой «Ока» совершенно ужасен, абсолютно уверен в себе, и священник предоставляет его Богу. Обычно же, когда преступление совершил заблудший человек, на месте которого отец Браун может представить себя, он или отходит в сторону, или беседует с ним, как с почтальоном в «Невидимке» или вором в «Алой луне Меру». Беседа с «невидимкой» – длинная, они долго гуляют, вора из «Луны» удастся привести к покаянию как-то уж очень быстро, но здесь мы священника не слышим. Лучше всего, если его слова нам доступны, как проповедь в саду, снизу вверх – Фламбо сидит на дереве («Летучие звезды»).

Иногда наказание предполагается – например, сам Браун приманил к Фламбо сыщика и полицию. Кстати, здесь очень заметно одно свойство Честертонна: там, где логика ему не нужна, он от нее отмахивается. Читатель может угадать сам, отсидел ли Фламбо прежде, чем встретиться с патером Брауном в «Станных шагах» или в тех же «Звездах». Догадаться же, почему он не узнает человека, с которым в «Сапфировом кресте» провел целый день, вообще невозможно.

Кое-кого отец Браун спасает от наказания (например, в «Небесной стреле»), но это не главное. Наказан преступник по земному закону или не наказан, священник стремится к тому, чтобы он переменился, покаялся. Остальное он с евангельской легкостью предоставляет другому суду. Легкость эта – не удобство, небрежение или легкомыслие. Она настолько же труднее мирской тяжести, как хождение по воде труднее хождения по суше. Однако это именно легкость. Отец Браун не падает под грузом зла. Он приветлив и прост – перечитайте, как один

из персонажей «Воскресения» вспоминает, видя его, самые скромные, связанные с детством вещи. Честертоновский священник неуклюж (иногда напоминания об этом назойливы), но он никогда не бывает «нервным». В «Поединке доктора Хирша» мы словно подглядываем, как он ест в уличном кафе, и соглашаемся с определением «непритязательный эпикуреец». Знание зла вызывает в нем очень глубокую печаль, но не ведет к болезненной искалеченности.

Сам Честертон был не совсем таким. В нем оставалась подростковая воинственность, правда – только в спорах, безукоризненно рыцарских. Он тоже неуклюж, но иначе. В конце концов, отец Браун – маленький, а он – «человек-гора». Несмотря на размеры, Честертон «прыгуч и прыток» (так выразился он в «Маске Мидаса»), причем в пожилые годы эта манера объяснялась не столько радостью жизни, сколько доброжелательством, а может быть – застенчивостью. Во всяком случае, печаль он знал – и чисто христианскую, о мире, и обычную, из-за потерь и болезней. Однако своему любимому герою он дал не прыгучесть, а неловкость, высвечивая его смирение на фоне самодовольного мира.

Кроткие они оба. Честертон вообще был резок три раза в жизни: когда при нем обидели служанку, когда обидели секретаря и только один раз эгоистично, «по-человечески». Вспоминает об этом именно О'Коннор. Они близко дружили уже восемь лет, вышли два брауновских сборника, и вот – вечером, в саду – Честертон обо что-то споткнулся. О'Коннор поддержал его, он сердито вырвался – и упал, даже вывихнул руку. Стоит ли говорить, что он радовался скорому возмездию?

Отец Браун огражден волей автора от таких грехов и соблазнов. Если он повышает голос, значит, Честертон именно этого хотел. Случается это очень редко. В «Небесной стреле» он спорит с более сильными, в «Последнем плакальщике» тоже, но, главное, в его голосе много глубокой печали. Кажется, чистый случай гнева – один, «На скорую руку», но там, как бывало в 1930-е годы, Честертон вводит в его речь почти политический мотив. Священник при этом теряет то, к чему мы привыкли, это как будто не совсем он.

Но тут мы выходим к другим темам, которых, Бог даст, тоже коснемся. Пока же я хотела бы сделать прямо противоположное, а именно – подсказать, что «innocence – wisdom» и «мирная радость – печаль» говорят об одном и том же.

Неведение отца Брауна

Сапфировый крест

Пер. Н. Трауберг

Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них – он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания; разве что праздничное щегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый сюртук, белый жилет и серебристая соломенная шляпа с серо-голубой лентой подчеркивали смуглый цвет его лица и черноту эспаньолки, которой больше бы пристали брыжи елизаветинских времен. Приезжий курил сигару с серьезностью бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком – заряженный револьвер, под белым жилетом – удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой – умнейшая голова Европы. Это был сам Валантэн, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи.

Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила его, от Гента до Брюсселя, от Брюсселя до Хук ван Холланда², и решила, что он поедет в Лондон, – туда съехались в те дни католические священники и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Валантэн не знал еще, кем он прикинется – мелкой церковной сошкой или секретарем епископа; никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо.

Прошло много лет с тех пор, как этот гений воровства перестал будоражить мир и, как говорили после смерти Роланда, на земле воцарилась тишина³. Но в лучшие (то есть в худшие) дни Фламбо был известен не меньше, чем кайзер. Чуть не каждое утро газеты сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое, еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. О его великаньих шутках рассказывали легенды: однажды он поставил на голову следователя, чтобы «прочистить ему мозги»; другой раз пробежал по Рю де Риволи с двумя полицейскими под мышкой. К его чести, он пользовался своей силой только для таких бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он никогда не убивал – он только крал, изобретательно и с размахом. Каждую из его краж можно было счесть новым грехом и сделать темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму «Тирольское молоко», у которой не было ни коров, ни доярок, ни бидонов, ни молока, зато были тысячи клиентов; обслуживал он их очень просто: переставлял к их дверям чужие бидоны. Большой частью аферы его были обезоруживающе просты. Говорят, он перекрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом; несмотря на свой рост, он прыгал, как кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Валантэн прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника – еще далеко не все.

Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик.

Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не мог – своего огромного роста. Если бы меткий взгляд Валантэна остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже

² Хук ван Холланд – порт в Голландии; соединяется каналом с Роттердамом. – *Здесь и далее примеч. пер.*

³ После смерти Роланда на земле воцарилась тишина. – В старофранцузском эпосе «Песнь о Роланде» после гибели славного графа король Карл зовет своих подданных, но ему никто не отвечает: «ни звука королю в ответ». «Песнь о Роланде», с. XXVI, ст. 2411.

статной герцогине, он задержал бы их немедленно. Но все, кто попадался ему на пути, походили на переодетого Фламбо не больше, чем кошка – на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил; в поезде же с ним ехали только шестеро: коренастый путеец, направлявшийся в Лондон; три невысоких огородника, севших на третьей станции; миниатюрная вдова из эссекского местечка и совсем низенький священник из эссекской деревни. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест: глаза его были бесцветны, как Северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жителей Норфолка зовут клецками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Валантэн, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонт то и дело падал; он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет «настоящую серебряную вещь с синими камушками». Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу; когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валантэн от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантэн ни говорил, он искал взглядом другого человека – в бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже шести футов. В знаменитом преступнике было шесть футов четыре дюйма⁴.

Как бы то ни было, вступая на Ливерпул-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в Скотланд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится, потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остановился. Площадь – небольшая и чистая – поражала внезапной тишиной; есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет; а в центре – одиноко, словно остров в Тихом океане, – зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд, внезапно и очень по-лондонски, разбивала витрина ресторана. Этот ресторан как будто бы забрел сюда из Сохо; все привлекало в нем – и деревья в кадках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валантэн остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы.

Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то и другое я видел на днях. Нельсон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона (похоже на сыноубийство!). Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться на непредвиденное⁵.

Аристид Валантэн был истый француз, а французский ум – это ум, и ничего больше. Он не был «мыслящей машиной», ведь эти слова – неумное порождение нашего бескрылого фатализма: машина потому и машина, что не умеет мыслить. Он был мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими похожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду, простой и ясной французской мысли. Французы будоражат мир не парадоксами, а общими местами. Они облакают прописные истины в плоть и кровь – вспомним их революцию. Валантэн знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не смыслит в моторах, попытается ехать без бензина; только тот, кто ничего не смыслит в разуме,

⁴ Шесть футов четыре дюйма – 1 м 93 см.

⁵ ...мудрость должна полагаться на непредвиденное. – Вероятно, речь идет о наблюдении Э. По из новеллы «Убийство на улице Морг»: «Искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено».

попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было. Он упустил Фламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, тот мог принять любую личину и оказаться кем угодно, от верзилы-оборванца в Уимблдоне до атлета-кутилы в отеле «Метрополь».

Когда Валантэн ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, – не в банки, полицейские участки, значные места, а туда, куда не следует: стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь, петлял. Свои безумные поступки он объяснял весьма разумно. Если у вас есть ключ, говорил он, этого делать не стоит; но если ключа нет – делайте только так. Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. С чего-то надо начать; почему же не начать там, где мог остановиться другой? В крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то необычное. Романтическим нюхом сыщика Валантэн почуял, что тут стоит остановиться. Он взбежал по ступенькам, сел у окна и спросил черного кофе.

Было позднее утро, а он еще не завтракал. Остатки чужой еды на столиках напомнили ему, что он проголодался; он заказал яйцо всмятку и рассеянно положил в кофе сахар, думая о Фламбо. Он вспомнил, как тот использовал для побега то ножницы, то пожар, то доплатное письмо без марки, а однажды собрал толпу к телескопу, чтоб смотреть на мнимую комету. Валантэн считал себя не глупее Фламбо и был прав. Но он прекрасно понимал невыгоды своего положения. «Преступник – творец, сыщик – критик», – сказал он, кисло улыбнулся, поднес чашку к губам и быстро опустил. Кофе был соленый.

Он посмотрел на вазочку, из которой брал соль. Это была сахарница, предназначенная для сахара, точно так же, как бутылка предназначена для вина. Он удивился, что здесь держат в сахарницах соль, и посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две, полные доверху. Может, и с ними не все в порядке? Он попробовал; в них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом другие столики – не проявился ли в чем-нибудь и там изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар? Все было опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых обоях. Валантэн крикнул лакея.

Растрепанный и сонный лакей подошел к столику, и сыщик (ценивший простую, незамысловатую шутку) предложил ему попробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал, охнул и проснулся.

– Вы всегда шутите так тонко? – спросил Валантэн. – Вам не приелся этот розыгрыш?

Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил, что ни у него, ни у хозяина и в мыслях не было ничего подобного. Вероятно, они просто ошиблись. Он взял сахарницу и осмотрел ее; взял солонку и осмотрел ее, удивляясь все больше и больше. Наконец он быстро извинился, убежал и привел хозяина. Тот тоже обследовал сахарницу и солонку и тоже удивился.

Вдруг лакей захлебнулся словами.

– Я вот что думаю, – затараторил он. – Я думаю, это те священники. Те, двое, – пояснил лакей. – Которые стену супом облили.

– Облили стену супом? – переспросил Валантэн, думая, что это итальянская поговорка.

– Вот, вот, – волновался лакей, указывая на темное пятно. – Взяли и плеснули.

Валантэн взглянул на хозяина, и тот дал более подробный отчет.

– Да, сэр, – сказал он. – Так оно и было, только сахар и соль тут, наверно, ни при чем. Совсем рано, мы только шторы подняли, сюда зашли два священника и заказали бульон. Люди вроде бы тихие, приличные. Высокий расплатился и ушел, а другой собирал свертки, он какой-то был неповоротливый. Потом он тоже пошел к дверям и вдруг схватил чашку и вылил суп на стену. Я был в задней комнате. Выбегаю – смотрю: пятно, а священника нет. Убыток небольшой, но ведь какая наглость! Я побежал за ним, да не догнал, они свернули на Карстейрс-стрит.

Валантэн уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он понял: во тьме неведения надо было идти туда, куда направляет вас первый указатель, каким бы странным он ни был. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже свернул за угол и побежал по улице.

К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холодной зоркости. Пробегая мимо какой-то лавки, он заметил в ней что-то странное и вернулся. Лавка оказалась зеленой; на открытой витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торчали ярлычки с ценами. В самых больших ячейках высились гряда орехов и пирамида мандаринов. Надпись над орехами – синие крупные буквы на картонном поле – гласила: «Лучшие мандарины. Две штуки за пенни»; надпись над мандаринами: «Лучшие бразильские орехи. Четыре пенса фунт». Валантэн прочитал и подумал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обратившись к краснолицему зеленщику, который довольно угрюмо смотрел вдаль, он привлек его внимание к прискорбной ошибке. Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, небрежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину. Наконец он спросил:

– Простите за нескромность, сэр, нельзя ли задать вам вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциации идей?

Багровый лавочник грозно взглянул на него, но Валантэн продолжал, весело помахивая тростью:

– Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика напоминают нам о священнике, прибывшем на праздники в Лондон? Или – если я выражаюсь недостаточно ясно – почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с двумя духовными лицами, повыше ростом и пониже?

Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки; казалось, он вот-вот кинется на нахала. Но он сердито проворчал:

– А ваше какое дело? Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо скажите: попы они там или кто, а рассыпят мне опять яблоки – кости переломаяю!

– Правда? – посочувствовал сыщик. – Они рассыпали ваши яблоки?

– Это все тот, коротенький, – разволновался зеленщик. – Прямо по улице покатались.

Пока я их подбирал, он и ушел.

– Куда? – спросил Валантэн.

– Налево, за второй угол. Там площадь, – быстро сообщил зеленщик.

– Спасибо, – сказал Валантэн и упорхнул как фея.

За вторым углом налево он пересек площадь и бросил полисмену:

– Срочное дело, констебль. Не видели двух патеров?

Полисмен засмеялся басом.

– Видел, – сказал он. – Если хотите знать, сэр, один был пьяный. Он стал посреди дороги и...

– Куда они пошли? – резко спросил сыщик.

– Сели в омнибус, – ответил полицейский. – Из этих, желтых, которые идут в Хемпстед⁶.

Валантэн вынул карточку, быстро сказал: «Пришлите двоих, пусть идут за мной!» – и ринулся вперед так стремительно, что могучий полисмен волей-неволей поспешил выполнить его приказ. Через минуту, когда сыщик стоял на другой стороне площади, к нему присоединились инспектор и человек в штатском.

– Итак, сэр, – важно улыбаясь, начал инспектор, – чем мы можем...

Валантэн выбросил вперед трость.

⁶ *Хемпстед* – расположенное на холмистой местности аристократическое предместье на севере Лондона.

– Я отвечу вам на империале вон того омнибуса, – сказал он и нырнул в гущу машин и экипажей.

Когда все трое, тяжело дыша, уселись на верхушке желтого омнибуса, инспектор сказал:

– В такси мы бы доехали в четыре раза быстрее.

– Конечно, – согласился предводитель. – Если б мы знали, куда едем.

– А куда мы едем? – ошарашенно спросил инспектор.

Валантэн задумчиво курил; потом, вынув изо рта сигару, произнес:

– Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед. Но если вы только гадаете – идите за ним. Блуждайте там, где он; останавливайтесь, где он; не обгоняйте его. Тогда вы увидите то, что он видел, и сделаете то, что он сделал. Нам остается одно: подмечать все странное.

– В каком именно роде? – спросил инспектор.

– В любом, – ответил Валантэн и надолго замолчал.

Желтый омнибус полз по северной части Лондона. Казалось, что прошли часы; великий сыщик ничего не объяснял, помощники его молчали, и в них росло сомнение. Быть может, рос в них и голод – давно миновала пора второго завтрака, а длинные улицы северных кварталов вытягивались одна за другой, словно колена какой-то жуткой подозрительной трубы. Все мы помним такие поездки – вот-вот покажется край света, но показывается только Тэфнел-парк. Лондон исчезал, рассыпался на грязные лачуги, кабачки и хилые пустыри и снова возникал в огнях широких улиц и фешенебельных отелей. Казалось, едешь сквозь тринадцать городов. Впереди сгущался холодный сумрак, но сыщик молчал и не двигался, пристально вглядываясь в мелькающие мимо улицы. Когда Кэмден-таун⁷ остался позади, полицейские уже клевали носом. Вдруг они очнулись: Валантэн вскочил, схватил их за плечи и крикнул кучеру, чтобы тот остановился.

В полном недоумении они скатились по ступенькам и, оглядевшись, увидели, что Валантэн победно указывает на большое окно по левую руку от них. Окно это украшало сверкающий фасад большого, как дворец, отеля; здесь был обеденный зал ресторана, о чем и сообщала вывеска. Все окна в доме были из матового узорного стекла; но в середине этого окна, словно звезды во льду, зияла дырка.

– Наконец! – воскликнул Валантэн, потрясая тростью. – Разбитое окно! Вот он, ключ!

– Какое окно? Какой ключ? – рассердился полицейский. – Чем вы докажете, что это связано с нами?

От злости Валантэн чуть не сломал бамбуковую трость.

– Чем докажу! – вскричал он. – О Господи! Он ищет доказательств! Скорей всего, это никак не связано! Но что ж нам еще делать? Неужели вы не поняли, что нам надо хвататься за любую, самую невероятную случайность или идти спать?

Он ворвался в ресторан; за ним вошли полисмены. Все трое уселись за столик и принялись за поздний завтрак, поглядывая то и дело на звезду в стекле. Надо сказать, и сейчас она мало что объясняла.

– Вижу, у вас окно разбито, – сказал Валантэн лакею, расплачиваясь.

– Да, сэр, – ответил лакей, озабоченно подсчитывая деньги. Чаевые были немалые, и, выпрямившись, он явно оживился. – Вот именно, сэр, – сказал он. – Ну и дела, сэр!

– А что такое? – небрежно спросил сыщик.

– Пришли к нам тут двое, священники, – поведал лакей. – Сейчас их много понаехало. Ну, позавтракали они, один заплатил и пошел. Другой чего-то возится. Смотрю – завтрак-то был дешевый, а заплатили чуть не вчетверо. Я говорю: «Вы лишнее дали», а он остановился на пороге и так это спокойно говорит: «Правда?» Взял я счет, хотел ему показать и чуть не свалился.

⁷ Тэфнел-парк, Кэмден-таун – улицы и соответствующие автобусные остановки по пути в Хемпстед.

– Почему? – спросил сыщик.

– Я бы чем хотите поклялся, в счете было четыре шиллинга. А тут смотрю – сорок пять, хоть ты тресни.

– Так! – вскричал Валантэн, медленно поднимаясь на ноги. Глаза его горели. – И что же?

– А он стоит себе в дверях и говорит: «Простите, перепутал. Ну, это будет за окно». – «Какое такое окно?» – говорю. «Которое я разобью», – и трах зонтиком!

Слушатели вскрикнули, а инспектор тихо спросил:

– Мы что, гонимся за сумасшедшим?

Лакей продолжал, смакуя смешную историю:

– Я так и сел, ничего не понимаю. А он догнал того, высокого, свернули они за угол – и как побегут по Баллок-стрит! Я за ними со всех ног, да куда там – ушли!

– Баллок-стрит! – крикнул сыщик и понесся по улице так же стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался.

Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных стен, как по туннелю. Здесь было мало фонарей и освещенных окон; казалось, что все на свете повернулось к ним спиной. Сгущались сумерки, и даже лондонскому полисмену нелегко было понять, куда они спешат. Инспектор, однако, не сомневался, что рано или поздно они выйдут к Хемпстедскому Лугу. Вдруг в синем сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое освещенное окно, и Валантэн остановился за шаг до лавочки, где торговали сладостями. Поколебавшись секунду, он нырнул в разноцветный мирок кондитерской, подошел к прилавку и со всей серьезностью отобрал тринадцать шоколадных сигар. Он обдумывал, как перейти к делу, но это ему не понадобилось.

Костлявая женщина, старообразная, хотя и нестарая, смотрела с тупым удивлением на элегантного пришельца; но, увидев в дверях синюю форму инспектора, очнулась и заговорила.

– Вы, наверно, за пакетом? – спросила она. – Я его отослала.

– За пакетом?! – повторил Валантэн; пришел черед и ему удивляться.

– Ну, который тот мужчина оставил, священник, что ли?

– Ради Бога! – воскликнул Валантэн и подался вперед; его пылкое нетерпение прорвалось наконец наружу. – Ради Бога, расскажите подробно!

– Ну, – не совсем уверенно начала женщина, – зашли сюда священники, это уж будет с полчаса. Купили мятных лепешек, поговорили про то про се и пошли к Лугу. Вдруг один бежит: «Я пакета не оставлял?» Я туда, сюда – нигде нету. А он говорит: «Ладно. Найдете – пошлите вот по такому адресу». И дал мне этот адрес и еще шиллинг за труды. Вроде бы все обшарила, а ушел он, глядь – пакет лежит. Ну, я его и послала, не помню уж куда, где-то в Вестминстере⁸. А сейчас я и подумала: наверное, в этом пакете что-то важное, вот полиция за ним и пришла.

– Так и есть, – быстро сказал Валантэн. – Ближе тут Луг?

– Прямо идти минут пятнадцать, – сказала женщина. – К самым воротам выйдете.

Валантэн выскочил из лавки и понесся вперед. Полисмены неохотно трусили за ним.

Узкие улицы предместья лежали в тени домов, и, вынырнув на большой пустырь, под открытое небо, преследователи удивились, что сумерки еще так прозрачны и светлы. Круглый купол синевато-зеленого неба отсвечивал золотом меж черных стволов и в темно-лиловой дали. Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался, и на небе проступали редкие кристаллики звезд. Последний луч солнца мерцал, как золото, на вершинах холмов, венчавших излюбленное лондонцами место, которое зовется Долиной Здоровья. Праздные горожане еще не совсем разбрелись – на скамейках темнели расплывчатые силуэты пар, а где-то вдалеке вскрикивали

⁸ *Вестминстер* – центральный район Лондона, где находятся правительственные учреждения.

на качелях девицы. Величие небес осеняло густеющей синью величие человеческой пошлости. И, глядя сверху на Луг, Валантэн увидел наконец то, что искал.

Вдалеке чернели и расставались пары; одна из них была чернее всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили вдаль. Они были не крупнее жуков; но Валантэн увидел, что один много ниже другого. Высокий шел смиренно и чинно, как подобает ученому клирику, но было видно, что в нем больше шести футов. Валантэн сжал зубы и ринулся вниз, рьяно вращая тростью. Когда расстояние сократилось и двое в черном стали видны четко, как в микроскоп, он заметил еще одну странность, которая и удивила его и не удивила. Кем бы ни был высокий, маленького Валантэн узнал: то был его попутчик по купе, неуклюжий священник из Эссекса, которому он посоветовал смотреть получше за своими свертками.

Пока что все сходилось. Сыщику сказали, что некий Браун из Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами крест – драгоценную реликвию, которую покажут иностранному клиру. Это и была, конечно, «серебряная вещь с камушками», а Браун, без сомнения, был тот растяпа из поезда. То, что узнал Валантэн, прекрасно мог узнать и Фламбо – Фламбо обо всем узнавал. Конечно, пронюхав про крест, Фламбо захотел украсть его – это проще простого. И уж совсем естественно, что Фламбо легко обвел вокруг пальца священника со свертками и зонтиком. Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс, так что Фламбо – блестящему актеру – ничего не стоило затащить его на этот Луг. Покуда все было ясно. Сыщик пожалел беспомощного священника и чуть не запресизрал Фламбо, опустившегося до такой доверчивой жертвы. Но что означали странные события, приведшие к победе его самого? Как ни думал он, как ни бился – смысла в них не было. Где связь между кражей креста и пятном супа на обоях? Перепутанными ярлычками? Платой вперед за разбитое окно? Он пришел к концу пути, но упустил середину. Иногда, хотя и редко, Валантэн упустил преступника; но ключ находил всегда. Сейчас он настиг преступника, но ключа у него не было.

Священники ползли по зеленому склону холма, как черные мухи. Судя по всему, они беседовали и не замечали, куда идут; но шли они в самый дикий и тихий угол Луга. Преследователям пришлось принимать те недостойные позы, которые принимает охотник, выслеживающий дичь: они перебежали от дерева к дереву, крались и даже ползли по густой траве. Благодаря этим неуклюжим маневрам охотники подошли совсем близко к дичи и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», которое повторял то и дело высокий детский голос. Вдруг путь им преградили заросли над обрывом; сыщики потеряли след и плутали минут десять, пока, обогнув гребень круглого, как купол, холма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. Под деревом стояла ветхая скамья; на ней сидели, серьезно беседуя, священники. Зелень и золото еще сверкали у темнеющего горизонта, сине-зеленый купол неба становился зелено-синим, и звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Валантэн сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и, стоя там в полной тишине, услышал наконец, о чем говорили странные священнослужители.

Он слушал минуту-другую, и бес сомнения обуял его. А что, если он зря затащил английских полисменов в дальний угол темнеющего парка? Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники, – благочестиво, степенно, учено о самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эссекса говорил проще, обратив круглое лицо к разгорающимся звездам. Высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недостойн на них взглянуть. Беседа их была невинней невинного; ничего более возвышенного не услышишь в белой итальянской обители или в черном испанском соборе.

Первым донесся голос отца Брауна:

– ...то, что имели в виду средневековые схоласты, когда говорили о несокрушимости небес.

Высокий священник кивнул склоненной головой.

– Да, – сказал он, – безбожники взывают теперь к разуму. Но кто, глядя на эти мириады миров, не почувствует, что там, над нами, могут быть Вселенные, где разум неразумен?

– Нет, – сказал отец Браун, – разум разумен везде.

Высокий поднял суровое лицо к усеянному звездами небу.

– Кто может знать, есть ли в безграничной Вселенной... – снова начал он.

– У нее нет пространственных границ, – сказал маленький и резко повернулся к нему, – но за границы нравственных законов она не выходит.

Валантэн сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним – ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. От злости он пропустил ответ высокого и услышал только отца Брауна.

– Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде. Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфиры? Так вот, представьте себе любые растения и камни. Представьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна – синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов вы найдете все ту же заповедь: «Не укради».

Валантэн собрался было встать – у него затекло все тело – и уйти потише; в первый раз за всю жизнь он сморозил такую глупость. Но высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался. Наконец тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на коленях:

– А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голову. – И, не поднимая головы, не меняя интонации, прибавил: – Давайте-ка сюда этот крест. Мы тут одни, и я вас могу распотрошить, как чучело.

Оттого что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся; его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха.

– Да, – все так же тихо сказал высокий, – да, я Фламбо. – Помолчал и прибавил: – Ну, отдадите вы крест?

– Нет, – сказал Браун, и односложное это слово странно прозвенело в тишине.

И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо.

– Не отдадите! – сказал он. – Еще бы вы отдали! Еще бы вы мне его отдали, простак-холостяк! А знаете, почему? Потому что он у меня в кармане.

Маленький сельский священник повернул к нему лицо – даже в сумерках было видно, как он растерян, – и спросил взволнованно и робко, словно подчиненный:

– Вы... вы уверены?

Фламбо взвыл от восторга.

– Ну, с вами театра не надо! – закричал он. – Да, достопочтенная брюква, уверен! Я догадался сделать фальшивый пакет. Так что теперь у вас бумага, а у меня – камешки. Старый прием, отец Браун, очень старый прием.

– Да, – сказал отец Браун и все так же странно, несмело пригладил волосы, – я о нем слышал.

Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом.

– Кто? Вы? – спросил он. – От кого ж это вы могли слышать?

– Я не вправе назвать вам его имя, – просто сказал Браун. – Понимаете, он каялся. Он жил этим лет двадцать – подменял свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него, беднягу.

– Заподозрили? – повторил преступник. – Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?

– Ну да, – виновато сказал Браун. – Я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано, это от наручников.

– А, черт! – заорал Фламбо. – Вы-то откуда знаете про наручники?

– От прихожан, – ответил Браун, кротко поднимая брови. – Когда я служил в Хартлпуле, там у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж простите, я за вами следил. В конце концов я заметил, что вы подменили пакет. Ну а я подменил его снова и настоящий отослал.

– Отослали? – повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой.

– Да, отослал, – спокойно продолжал священник. – Я вернулся в лавку и спросил, не оставлял ли я пакета. И дал им адрес, куда его послать, если он найдется. Конечно, сначала я его не оставлял, а потом оставил. А она не побежала за мной и послала его прямо в Вестминстер, моему другу. Этому я тоже научился от того бедняги. Он так делал с сумками, которые крал на вокзалах. Сейчас он в монастыре. Знаете, в жизни многому научишься, – закончил он, виновато почесывая за ухом. – Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают...

Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочков свинца. Потом он вскочил, взмахнув огромной рукой, и заорал:

– Не верю! Я не верю, что такая тыква может все это обстряпать! Крест у вас! Не дадите – отберу. Мы одни.

– Нет, – просто сказал отец Браун и тоже встал. – Вы его не отберете. Во-первых, его действительно нет. А во-вторых, мы не одни.

Фламбо замер на месте.

– За этим деревом, – сказал отец Браун, – два сильных полисмена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда пришли? Я их привел. Как? Что ж, я скажу, если хотите. Господи, когда работаешь в трущобах, приходится знать много таких штук! Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорблять своего брата-священника. Вот я и стал вас испытывать. Когда человеку дадут соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стерпит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал в сахарницу соль, а в солонку – сахар, и вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем надо, это, конечно, вызывает недоумение. Если человек по нему платит, значит, он хочет избежать скандала. Я приписал единицу, и вы заплатили.

Казалось, Фламбо вот-вот кинется на него, словно тигр. Но вор стоял как зачарованный – он хотел понять.

– Ну вот, – с тяжеловесной дотошностью объяснял отец Браун. – Вы не оставляли следов – кому-то надо же было их оставлять. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы о нас толковали весь день. Я не причинял большого вреда – облил супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно, – но крест я спас. Сейчас он в Вестминстере. Странно, что вы не пустили в ход ослиный свисток.

– Чего я не сделал?

– Как хорошо, что вы о нем не слышали! – просиял священник. – Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут бы мне не помогли даже пятна – я слабоват в коленках.

– Что вы несете? – спросил Фламбо.

– Ну уж про пятна-то, я думал, вы знаете! – обрадовался Браун. – Значит, вы еще не очень испорчены.

– А вы-то откуда знаете всю эту гадость? – воскликнул Фламбо.

– Наверное, потому, что я простак-холостяк, – сказал Браун. – Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник.

– Какая еще теория? – спросил изнемогающий Фламбо.

– Вы нападали на разум, – ответил Браун. – Это дурное богословие.

Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли в сумерках из-за деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы игры: он отступил назад и низко поклонился Валантэну.

– Не мне кланяйтесь, *mon ami*⁹, – сказал Валантэн серебряно-звонким голосом. – Поклонимся оба тому, кто нас превзошел.

И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский священник шарил в темноте, пытаясь найти зонтик.

⁹ *Mon ami* – мой друг (фр.).

Сокровенный сад

Пер. М. Лахути

Аристид Валантэн, глава парижского сыска, опаздывал к обеду, и гости начали прибывать раньше хозяина. Их встречал доверенный слуга, Иван, старик со шрамом на лице, почти таком же выцветшем, как и его седые бакенбарды, постоянно сидевший за столом в холле, где все стены были увешаны оружием. Дом у Валантэна был, пожалуй, не менее своеобразным, чем его прославленный владелец. Старый дом на самом берегу Сены, обнесенный кирпичной стеной, над которой выглядывали высокие тополя; а самое странное – и, должно быть, с точки зрения полиции самое ценное, – что из дома не было иного выхода, кроме как через парадную дверь, охраняемую Иваном и целым арсеналом. Несколько дверей вели из дома в большой ухоженный сад, но с внешним миром сад никак не сообщался – его окружала сплошная непреодолимая стена с острыми пиками наверху. Недурной сад для человека, которого клялись убить сотни осужденных преступников.

Как объяснил гостям Иван, хозяин дома сообщил по телефону, что задерживается буквально на десять минут. По правде сказать, он отдавал последние распоряжения касательно смертной казни и тому подобных малоприятных вещей. Такого рода обязанности, хотя и рутинные, Валантэн всегда исполнял с большой тщательностью. Безжалостный в погоне за преступниками, он был мягкосердечен по части их наказания, а благодаря своему огромному влиянию на французскую полицию – да и полицию всей Европы в значительной мере – мог способствовать повсеместному смягчению приговоров и улучшению условий в тюрьмах. Валантэн принадлежал к числу великих французских вольнодумцев-гуманистов, а у них есть лишь один недостаток: в их исполнении милосердие оказывается еще холодней правосудия.

Валантэн появился уже одетый в черное, с алой розеткой Почетного легиона в петлице, безупречно элегантный, темная бородка тронута сединой, и прошел прямо к себе в кабинет. Дверь из кабинета в сад оставалась открытой. Валантэн, аккуратно заперев служебную шкапулку в положенном ей месте, постоял немного у двери, с непривычной для своего логичного склада ума печалью глядя на луну за летящими обрывками облаков. Быть может, эти научные натуры способны каким-то непостижимым образом предчувствовать грядущие потрясения в своей жизни... Впрочем, вскоре он стряхнул с себя элегическое настроение, зная, что припозднился и гости уже начали прибывать.

Впрочем, беглый взгляд с порога гостиной убедил Валантэна, что главный гость еще не прибыл. Остальные приглашенные столпы избранного общества уже были здесь. Валантэн увидел английского посланника лорда Галлоуэя – холерического старика с лицом румяным, точно яблоко, и с голубой лентой Ордена подвязки. Увидел и леди Галлоуэй, стройную как тростинка, с серебристой сединой и тонким надменным лицом. Увидел их дочь, леди Маргарет Грэхем, хорошенькую бледную девушку с худеньким личиком и медно-рыжими волосами. Увидел герцогиню Мон-Сен-Мишель, пышную и черноглазую, а с нею двух дочерей, таких же черноглазых и пышных. Увидел доктора Симона, типичного французского ученого в очках, с остроконечной бородкой и горизонтальными морщинами на челе – карой за высокомерие, ибо они образуются от частого поднимания бровей. Увидел отца Брауна из Кобхоула, графство Эссекс, – они недавно познакомились в Англии. И, быть может, с особым интересом увидел высокого человека в мундире, который, не получив от Галлоуэев сердечного отклика на свой поклон, теперь – единственный из всех – подошел поздороваться с хозяином дома. Майор французского Иностранного легиона О'Брайен был строен, чисто выбрит, синеглаз и темноволос, ходил слегка вразвалочку, а вид имел одновременно лихой и чуточку печальный, как и пристало офицеру войска, прославленного своими триумфальными поражениями и самоубийственными победами. Ирландский джентльмен по рождению, он в детстве был хорошо знаком

с Галлоуэями – а лучшего всего с Маргарет Грэхем. Покинув страну из-за сокрушительных долгов, он ныне подчеркивал полную свободу от британского этикета, щеголяя в мундире, при шпорах и с саблей на боку. На его поклон лорд и леди Галлоуэй ответили весьма сдержанно, а леди Маргарет отвела глаза.

Между тем, какими бы давними причинами ни был вызван интерес этих людей друг к другу, прославленного сыщика все они не слишком интересовали. По своим собственным особенным причинам Валантэн ожидал сегодня человека, с кем свел дружбу во время одного из своих блистательных расследований в Соединенных Штатах. Он ожидал Джулиуса К. Брейна – мультимиллионера, чьи колоссальные пожертвования различным малоизвестным религиозным организациям дали повод американским и английским газетам изошряться в дешевом остроумии с щедрой добавкой столь же дешевого пафоса. Никто не знал точно, атеист ли мистер Брейн, или же мормон, или последователь «Христианской науки»; он с готовностью вкладывал деньги в любое интеллектуальное течение, лишь бы оно было новым и неизведанным. Брейн все ждал, когда миру явится американский Шекспир – а это хобби требует еще больше терпения, чем рыбная ловля. Он восхищался Уолтом Уитменом, однако считал, что Люк П. Таннер из Парижа (штат Пенсильвания) куда «прогрессивней». Брейн вообще любил все «прогрессивное». Он и Валантэна считал «прогрессивным», что было в высшей степени несправедливо.

Джулиус К. Брейн появился в комнате с безапелляционностью обеденного гонга. Было у него замечательное качество, которым не всякий одарен, – его присутствие замечали не меньше, чем его отсутствие. Огромный рост при такой же огромной толщине; черноту вечернего костюма не оживляли даже цепочка от часов или перстень на пальце. Совершенно седые волосы были зачесаны назад, как у немца, открывая багровое лицо свирепого херувима. Темный клоч растительности на подбородке придавал его младенческому облику нечто театральное, чуть ли не мефистофельское. Впрочем, гости недолго глазели на знаменитого американца. Из-за его опоздания обед и так уже пришлось отложить, а потому все немедленно отправились в столовую. Возглавлял шествие Брейн под руку с леди Галлоуэй. Галлоуэй были милы и покладисты во всем, за исключением одного пункта: лишь бы Маргарет не шла в паре с авантюристом О'Брайеном. Она этого и не сделала, а благопристойно пошла с доктором Симоном. Тем не менее старый лорд Галлоуэй был беспокоен и почти груб. Ему еще хватило такта на время обеда, но когда принесли сигары, трое джентльменов помладше годами – доктор Симон, священник Браун и предосудительный О'Брайен – разбрелись, кто беседовать с дамами в гостиной, кто курить в оранжерее, и тогда-то британский дипломат сделался весьма недипломатичен. Каждые шестьдесят секунд его пронзала страшная мысль – что, если мерзавец О'Брайен и Маргарет обмениваются тайными знаками? Каким образом – он и не пытался вообразить. За кофе с ним остались только Брейн, седовласый янки, верующий во все религии сразу, и Валантэн, седеющий француз, ни во что не верующий. Увлеченно споря друг с другом, ни тот, ни другой не могли обратиться к англичанину за поддержкой. В конце концов «прогрессивные» словопрения наскучили лорду Галлоуэю; он встал и тоже отправился на поиски гостиной. Минут шесть или восемь блуждал он по длинным запутанным коридорам, пока не слышал вдали звучный наставительный голос доктора. Доктору ответил тихий голос священника, после чего раздался общий смех. Лорд беззвучно выругался: кажется, там спорили о «науке и религии». Впрочем, открыв дверь, он увидел только, кого в гостиной не было. Майор О'Брайен отсутствовал. Отсутствовала и леди Маргарет.

Лорд Галлоуэй нетерпеливо покинул гостиную, как перед тем – столовую, и вновь пустился странствовать по коридорам. Его ум захватила одна-единственная всепоглощающая и даже безумная цель – защитить дочь от ирландско-алжирского прощельяги. И недалеко от кабинета Валантэна лорд Галлоуэй неожиданно с ней столкнулся – Маргарет прошла навстречу с побелевшим, презрительным лицом. Вот еще загадка! Если она была с О'Брайеном, где же О'Брайен? Если нет – где она была? Весь во власти пылкой старческой подозрительности, лорд

Галлоуэй отважился углубиться в темные закоулки дома и в конце концов отыскал дверь для слуг, выходящую в сад. Ятаган луны уже раскромсал и прогнал с небес обрывки туч. Весь сад, до самых дальних уголков, был залит серебристым светом. Кто-то высокий, в синем, быстрыми шагами пересекал лужайку, направляясь к дверям кабинета; лунные блики на позументе с несомненностью обозначили майора О'Брайена.

Майор скрылся в доме, оставив лорда Галлоуэя в совершенно неопишемом состоянии духа – взбешенным и растерянным одновременно. Серебряно-синий сад, подобный театральной декорации, дразнил его властной нежностью, против которой восставала вся светская авторитарность посланника. Его злила стремительная походка ирландца – так, словно лорд Галлоуэй был его соперником, а не отцом девушки. Лунный свет едва не довел его до умопомешательства. Словно какое-то волшебство перенесло его в сказочную страну, в сад трубадуров. Желая освободиться от этих романтических бредней, лорд Галлоуэй последовал за своим врагом. Споткнувшись о затаившийся в траве корень или, может, камень, он взглянул себе под ноги – сперва с досадой, а затем с любопытством. В следующий миг луна и высокие тополя созерцали весьма необычную картину: пожилой английский дипломат с криками бежал по лужайке.

В ответ на его хриплые вопли в дверях кабинета показалось бледное лицо, нахмуренный лоб и сверкающие очки доктора Симона. Он первым отчетливо услышал слова лорда Галлоуэя:

– Мертвец на газоне! Весь в крови!

Наконец-то лорд позабыл о майоре.

– Нужно сейчас же сообщить Валантэну, – заявил доктор, услышав сбивчивые объяснения лорда, – тот не решился внимательно присмотреться к телу. – Удачно, что он как раз здесь!

Доктор еще не закончил говорить, как великий сыщик появился в кабинете, желая узнать причину криков. Было почти забавно наблюдать за его мгновенным преображением. Привело его сюда обычное беспокойство джентльмена и хозяина дома – не заболел ли кто-нибудь из гостей или слуг. Но как только ему сообщили кровавую новость, он встрепенулся и стал крайне деловит; в нем проснулся профессиональный интерес.

– Не странно ли, господа, – заметил он по пути в сад. – Всю жизнь я гонялся по свету за всевозможными тайнами, и вот одна из них сама приходит ко мне. Где же это?

Найти дорогу в саду оказалось не так легко – от реки поднялся туман. Однако потрясенный Галлоуэй вскоре указал место. Мертвец, высокий и кряжистый, лежал ничком в густой траве, и поначалу все разглядели только, что его могучие плечи облекала черная ткань, а крупная голова казалась лысой – лишь кое-где к черепу прилипли клочки темных волос, будто мокрые водоросли. Кровь алой змейкой выползала из-под головы убитого.

– По крайней мере, он не из нашей компании, – с не вполне определенной интонацией проговорил Симон.

– Доктор, осмотрите его! – воскликнул Валантэн. – Быть может, он еще жив.

Доктор наклонился к телу:

– Еще не остыл, но, боюсь, он все-таки умер. Помогите его поднять.

Как только труп осторожно приподняли над землей, все сомнения развеялись – голова откатилась в сторону. Тот, кто перерезал несчастному горло, совершенно отделил голову от тела.

Даже на Валантэна это произвело сильное впечатление.

– Убийца, должно быть, силен, как горилла, – пробормотал сыщик.

Доктор Симон подобрал голову, не сумев сдержать дрожь, хотя и был привычен к анатомическому препарированию. На шее и подбородке трупа виднелись следы порезов, но лицо в целом не пострадало. Оно было тяжеловесное, желтоватое, одновременно и распухшее, и осунувшееся, с ястребиным носом и набрякшими веками – лицо порочного римского императора, не лишенное при этом сходства с императором китайским. Никто из присутствующих

его не признал. Больше ничего особенного в покойнике не было – разве что, поднимая тело, все заметили белоснежную сорочку, обезображенную багряными пятнами крови. Как и сказал доктор Симон, убитый не принадлежал к их компании. Возможно, впрочем, он рассчитывал к ней присоединиться, поскольку пришел одетым для светского вечера.

Валантэн, опустившись на четвереньки, с профессиональной тщательностью обследовал траву и почву ярдов на двадцать вокруг трупа, в чем ему не столь профессионально помогал доктор и совсем уж беспомощно – английский лорд. Поиски не принесли никакого результата, если не считать нескольких мелко наломанных или нарубленных прутьев. Валантэн уделил им беглый взгляд и тут же отшвырнул.

– Прутики! – произнес он торжественно. – Прутики и незнакомец с отрезанной головой; больше на газоне ничего нет.

Последовало жутковатое молчание. Вдруг окончательно павший духом Галлоуэй воскликнул:

– Кто это?! Кто это там, у ограды?

Низенькое существо с нелепо громадной головой в неверном лунном свете казалось похожим на гоблина, однако уже в следующий миг стало ясно, что это безобидный маленький священник – его бросили одного в гостиной.

– Знаете, а ведь в этом саду нет калитки, – промолвил он смиренно.

Валантэн гневно сдвинул брови, что всегда делал из принципа при виде человека в сутане. Впрочем, справедливый по природе, он не мог не признать, что замечание святого отца весьма к месту.

– Вы правы! – сказал сыщик. – Прежде чем задумываться, как его убили, нужно выяснить, как он сюда попал. Вот что я скажу, джентльмены: давайте договоримся, что некоторые слишком известные имена не должны прозвучать в связи с данным делом, если только возможно будет устроить это без ущерба моему профессиональному долгу. Среди нас присутствуют дамы, а также иностранный посол. Если станет несомненным, что здесь совершилось преступление, мы и будем расследовать этот случай как преступление, но до тех пор я не намерен его разглашать. Я глава сыскной полиции – то есть лицо настолько публичное, что могу себе позволить некоторую приватность. Если Господу будет угодно, я очищу от подозрений всех своих гостей, прежде чем отправить подчиненных на поиски других возможных виновников. Джентльмены, под ваше честное слово пусть никто из вас не покинет мой дом до завтрашнего полудня; комнаты найдутся для всех. Симон, полагаю, вы знаете, где найти Ивана, моего камердинера. Он дежурит в холле, и он человек надежный. Скажите ему, пусть оставит вместо себя другого слугу, а сам немедленно явится ко мне. Лорд Галлоуэй, вы лучше всех сумеете рассказать о случившемся дамам и успокоить их. Они тоже должны здесь остаться. А мы с отцом Брауном пока побудем возле тела.

Когда Валантэн начинал говорить тоном главнокомандующего, ему повиновались беспрекословно, как звуку боевой трубы. Доктор Симон бегом помчался в арсенал и привел Ивана – частного сыщика при сыщике официальном. Галлоуэй отправился в гостиную и с таким тактом сообщил ужасные новости, что когда подошли остальные, дамы успели уже и напугаться, и успокоиться. Тем временем славный священник и славный атеист стояли на карауле у тела, недвижимые в лунном свете, словно скульптурные аллегории каждой своей философии посмертия.

Надежный человек Иван со шрамом и усами вылетел из дома, словно пушечное ядро, и подбежал к Валантэну, будто верный пес к хозяину. Его багровое лицо оживилось при известии о преступлении, и было почти неприятно видеть, с каким азартом он просит у хозяина дозволения осмотреть труп.

– Смотрите, если угодно, – ответил Валантэн, – только побыстрее. Обсудим все в доме. Иван вдруг вскинул голову и тут же низко ее опустил.

– Как же это! – воскликнул слуга. – Нет, невозможно... Вы знаете этого человек, сэр?
– Нет, – равнодушно промолвил Валантэн. – Идемте в дом.

Общими усилиями тело перенесли на диван в кабинете, а затем все отправились в гостиную.

Сыщик спокойно и без колебаний уселся за письменный стол, однако взгляд его был суров, как у судьи. Записав что-то на листе бумаги, Валантэн коротко спросил:

– Все здесь?

– Кроме мистера Брейна, – сказала, оглядываясь по сторонам, герцогиня Мон-Сен-Мишель.

– Да, – хрипло подтвердил лорд Галлоуэй. – И мистера Нила О'Брайена. Мистер Брейн, я знаю, докуривает сигару в столовой. Майор О'Брайен, кажется, расхаживает по оранжерее, но я не уверен.

Верный слуга мигом покинул комнату, а Валантэн по-военному стремительно продолжил свою речь, не дав никому времени вставить слово:

– Все вы уже знаете, что в саду найден обезглавленный мертвец. Доктор Симон, вы осмотрели тело. Как вы считаете, чтобы вот так перерезать человеку горло, нужна большая физическая сила? Или всего лишь исключительно острый нож?

– Я бы сказал, ножом это вообще невозможно сделать, – ответил бледный доктор.

– А каким инструментом это могло быть сделано?

– Если не выходить за рамки современности – никакого подобного инструмента я вообразить не могу, – отзвался доктор, страдальчески выгнув бровь. – Перерубить человеку шею даже очень грубо – нелегкая задача, а здесь у нас вполне чистый разрез. Такое можно было бы осуществить боевой секирой, или старинным топором палача, или не менее старинным двуручным мечом.

– Господи боже! – истерически вскрикнула герцогиня. – Здесь нет ни секир, ни двуручных мечей!

– А скажите, – промолвил Валантэн, продолжая быстро писать, – можно было это сделать французской кавалерийской саблей?

Тут в дверь постучали, и почему-то от этого негромкого звука у всех кровь застыла в жилах, как от стука в «Макбете».

Среди общего оцепенелого молчания доктор Симон с трудом выговорил:

– Саблей... Да, пожалуй, можно.

– Спасибо, – поблагодарил Валантэн. – Иван, входите!

Надежный Иван ввел в комнату майора О'Брайена, который в конце концов снова отыскался в саду.

Ирландец, весь взъерошенный, замер на пороге и с вызовом крикнул:

– Что вам от меня надо?

– Пожалуйста, садитесь, – учтиво и ровно ответил Валантэн. – Однако вы без сабли... Где она?

– В библиотеке на столе оставил, – буркнул О'Брайен. В минуты волнения его ирландский акцент заметно усиливался. – Она мне мешала, цеплялась за все...

– Иван, – приказал сыщик, – будьте так добры, принесите из библиотеки саблю майора.

Слуга исчез, а Валантэн вновь обратился к Нику О'Брайену:

– Лорд Галлоуэй говорит, вы ушли из сада как раз перед тем, как он обнаружил труп. Что вы там делали?

Майор с бесшабашным видом бросился в кресло и воскликнул на чистом ирландском:

– Да так, луной любовался! Единение с природой, дружище.

Последовало тягостное молчание. Оно все длилось и длилось, и наконец вновь раздался ужасный в своей банальности стук. Иван предъявил собравшимся пустые стальные ножны и пояснил:

– Больше ничего не нашлось.

– Положите на стол, – велел Валантэн, не отрываясь от своей писанины.

В комнате наступила тягостная тишина – такая бывает в суде, когда объявляют смертный приговор. Беспомощные восклицания герцогини давно уже отзвучали. Непомерная ненависть лорда Галлоуэя была утолена, и вместо нее пришло даже нечто вроде отрезвления.

Тут неожиданно заговорила леди Маргарет – звонким, чуть дрожащим голосом, каким говорит отважная женщина, если вынуждена высказываться на публике:

– Я скажу! Мистер О’Брайен не может вам ответить, что он делал в саду, поэтому отвечу я! Он просил меня выйти за него замуж. Я отказала. Я объяснила, что в силу обстоятельств могу подарить ему только свое уважение. Он немножко рассердился. Кажется, мое уважение ему не требовалось. Любопытно, – прибавила она с бледной улыбкой, – как он теперь к нему отнесется? Потому что я снова предлагаю ему свое уважение. Я готова где угодно поклясться, что он ни за что не сделал бы такого!

Лорд Галлоуэй бочком придвинулся к дочери и стал увещевать ее, воображая, будто понизил голос.

– Мэгги, придержи язык! – промолвил он громовым шепотом. – Зачем ты защищаешь этого типа? Где его сабля? Где, черт побери, его кавалерийская...

Лорд запнулся, озадаченный странным выражением лица дочери, – к ней в эту минуту были прикованы все взгляды.

– Старый дурень! – произнесла она негромко, хотя и без всякого почтения. – Чего ты добиваешься? Я сказала, что этот человек был со мной и что он невиновен. А если бы он был виновен, все равно мы находились вместе! Если он только что убил человека в саду – кто видел это или уж по крайней мере не мог не знать? Неужели ты так ненавидишь Нила, что готов и собственную дочь...

Леди Галлоуэй пронзительно вскрикнула. Остальные с дрожью волнения наблюдали, как у них на глазах разворачивается дьявольская трагедия – из тех, что случаются между влюбленными. Перед собравшимся обществом старинными портретами выступали из темноты бледное, исполненное гордости лицо шотландской аристократки и ее возлюбленного, ирландского авантюриста. Затянувшаяся пауза таила в себе неясные воспоминания об ужасных исторических случаях – убитых мужьях и коварных любовниках.

Среди зловещей тишины прозвучал бесхитростный голос:

– А что, сигара была очень длинная?

Такая неожиданная смена темы заставила всех обернуться к говорившему.

– Это я к тому, – пояснил из угла низенький отец Браун, – что мистер Брейн все никак не докурит свою сигару. Она, должно быть, длиною с хорошую трость...

Сказано было ни к селу ни к городу, однако в лице Валантэна отразилась не только досада, но и одобрение.

– Совершенно верно! – заметил он отрывисто. – Иван, ступайте еще раз к мистеру Брейну и приведите его сюда!

Едва за доверенным слугой закрылась дверь, Валантэн с жаром обратился к девушке:

– Леди Маргарет, мы все, безусловно, восхищены и благодарны за то, что вы сумели подняться выше мелочных условностей и объяснили нам поведение майора. Однако небольшой промежуток времени все же остается непроясненным. Лорд Галлоуэй, насколько я понял, встретил вас по пути из кабинета в гостиную, а майора в саду он увидел лишь спустя несколько минут.

– Не забывайте, я только что ему отказала, – с легкой иронией ответила леди Маргарет. – Не могли же мы вернуться рука об руку! Он все-таки джентльмен. Он задержался в саду... И теперь его обвиняют в убийстве!

– В эти краткие минуты он и в самом деле мог... – очень серьезно проговорил Валантэн. Вновь раздался стук, и из-за двери выглянуло изуродованное шрамом лицо Ивана:

– Прошу прощения, сэр. Мистер Брейн изволил удалиться.

– Удалиться! – вскричал Валантэн, впервые за все это время вскакивая на ноги.

– Уехал. Сбежал. Испарился, – отвечал Иван, блистая остроумием, свойственным французскому языку. – Шляпа и пальто исчезли тоже. И знаете, что всего удивительнее? Я выбежал из дома – хотел взглянуть, не осталось ли следа... И след нашелся. Довольно-таки большой след.

– Что это значит? – спросил Валантэн.

– Я вам покажу, – отзвался слуга, входя в комнату.

В руках у него сверкнула обнаженная кавалерийская сабля. Острие и кромка лезвия были запятнаны кровью.

Все застыли, как громом пораженные. Иван же, человек опытный, спокойно продолжал:

– Кто-то забросил ее в кусты у дороги, ярдах в пятидесяти от дома, по направлению к Парижу. Другими словами – ваш почтенный мистер Брейн туда ее забросил, удирая.

Вновь наступило молчание, но уже совсем иного сорта. Валантэн, взяв саблю в руки, сосредоточенно ее осмотрел, а затем уважительно обратился к О'Брайену:

– Я полагаю, майор, в случае необходимости вы предоставите эту саблю полиции для осмотра. А пока позвольте вернуть вам ее, – прибавил сыщик, вкладывая стальной клинок в звенящие сталью ножны.

Этот символический жест был встречен общими аплодисментами, а для Нила О'Брайена стал поворотным пунктом всей его жизни. Выйдя ранним утром снова в потаенный сад, майор уже не являл собой трагически-печального образа; жизнь ему улыбалась. Лорд Галлоуэй, будучи джентльменом, принес ему свои извинения. Леди Маргарет, будучи не просто леди, а истинной женщиной, должно быть, подарила ему нечто лучшее, чем извинения, еще до завтрака, прогуливаясь меж цветочных клумб. Компания гостей словно стала веселее и человечнее; хотя смерть незнакомца и оставалась загадкой, бремя подозрений покинуло их и улетело в Париж, вслед за чудаковатым миллионером, которого все они едва знали. Дьявол был изгнан из дома – точнее, он сам себя изгнал.

Однако загадка оставалась; и когда О'Брайен уселся на садовые качели рядом с доктором Симоном, почтенный ученый немедля заговорил о ней. Впрочем, от О'Брайена он не добился отклика – ирландца занимали куда более приятные мысли.

– Честно говоря, меня это не слишком интересует, – признался О'Брайен. – Тем более все уже, в общем, ясно. Видимо, Брейн почему-то затаил злобу на этого неизвестного типа, заманил его в сад и оттяпал голову моей саблей. Потом сбежал в Париж, а саблю выкинул по дороге. Между прочим, Иван мне сказал, что у мертвеца в кармане был американский доллар. Значит, он соотечественник Брейна – все сходится. Дело совсем простое!

– В этом деле, – тихо промолвил доктор, – имеются пять колоссальных сложностей, словно стены за высокими стенами. Поймите меня правильно – я не сомневаюсь в виновности Брейна. Его бегство тому подтверждение. Вопрос в другом: как он это проделал? Сложность первая: зачем убивать человека здоровенной саблей, когда с тем же успехом его можно зарезать перочинным ножом, который свободно помещается в кармане? Сложность вторая: почему мы не слышали криков и вообще никакого шума? Разве не было бы естественно издать какой-нибудь звук при виде человека, размахивающего саблей? Третья сложность: входная дверь весь вечер была на глазах у доверенного слуги, а в сад Валантэна даже крыса не прошмыгнет. Как убитый оказался в саду? Сложность четвертая: как Брейн выбрался из сада?

– А пятая? – спросил О’Брайен, глядя, как к ним по садовой тропинке медленно приближается английский священник.

– Суший пустяк, полагаю, – ответил доктор, – но пустяк довольно странный. В первую минуту я подумал, что голову отрубили не с одного удара, однако рассмотрев внимательнее, увидел отметины от клинка прямо на срезе – другими словами, удары были нанесены уже после того, как голову отделили от туловища. Неужели Брейн так безумно ненавидел своего врага, что продолжал кромсать саблей мертвеца в лунном свете?

– Ужасно! – содрогнулся О’Брайен.

Пока они разговаривали, подошел маленький отец Браун. Дождавшись, со своей обычной застенчивостью, пока те умолкнут, он несмело вымолвил:

– Простите, если помешал, но меня отправили сообщить вам новость!

– Новость? – повторил Симон, напряженно глядя на него сквозь очки.

– Да, простите, – кротко повторил отец Браун. – Видите ли, произошло еще одно убийство.

Оба вскочили, так что сиденье закачалось.

– И что самое удивительное, – продолжал священник, устремив свой невыразительный взор на заросли рододендронов, – тот же гадкий способ – отсечение головы. Вторая голова валялась у самой реки, так что кровь стекала в воду... Чуть дальше по направлению к Парижу. Оттого и предположили, что Брейн...

– Господь всемогущий! – воскликнул О’Брайен. – Он что, маньяк?

– В Америке существует кровная месть, – бесстрастно заметил маленький патер и тут же добавил: – Вас просят прийти осмотреть голову. Она в библиотеке.

Майор О’Брайен последовал за врачом и священником; его подташнивало. Как человек военный, он испытывал омерзение от скрытной бойни; когда же закончатся эти оголтелые усекования? Сперва одному отхватили голову, потому другому... Вот вам случай, с горечью думал майор, когда неправду говорит старая поговорка, будто бы две головы лучше, чем одна.

Проходя через кабинет Валантэна, О’Брайен чуть не споткнулся, пораженный неожиданным совпадением. На письменном столе он увидел рисунок еще и третьей окровавленной головы; притом головы самого Валантэна. Присмотревшись, майор убедился, что тут лежала всего лишь националистическая газетенка под названием «Гильотина», где еженедельно публиковали изображение какого-нибудь политического противника после казни, с искаженным лицом и выпученными глазами; Валантэн же прославился своим антиклерикализмом. Ирландец О’Брайен отличался своеобразной чистотой души даже во грехе; у него желчь подступила к горлу от этой чисто французской интеллектуальной жестокости. Париж показался ему единым живым чудовищем – от химер на готических соборах до безобразных газетных карикатур. Тут же вспомнилось и кровавое шутство революции. Весь город был словно сгустком злобной энергии – начиная с людоедского рисунка на столе у Валантэна и заканчивая ухмыляющимся дьяволом на крыше собора Парижской Богоматери, над чащобой оскаленных горгулий.

В длинной темной библиотеке с низким потолком красноватый утренний свет едва пробивался под опущенными шторами. Валантэн и его слуга Иван стояли возле длинного, чуть наклонного письменного стола, где, пугающие в полумраке, лежали бранные останки. Крупное тело в черном и желтое лицо человека, найденного в саду, несколько не изменились. Рядом лежала вторая голова, найденная у реки в камышах. Люди Валантэна все еще не нашли оставшуюся часть второго тела – как предполагали, его унесло течением. Отец Браун, видимо, не такой впечатлительный, как О’Брайен, бестрепетно осмотрел вторую голову, близоруко помаргивая. Мокрый ком седых волос в лучах утренней зари вспыхивал серебряными бликами; уродливое багровое лицо – возможно, преступного склада – сильно побило течением о камни или корни деревьев.

– Доброе утро, майор, – приветливо поздоровался Валантэн. – Полагаю, вы уже слышали о новом палаческом эксперименте Брейна?

Отец Браун, все еще склоняясь над беловолосой головой, поинтересовался:

– Значит, нет сомнений, что и эту голову отрезал Брейн?

– Так подсказывает логика, – ответил Валантэн, заложив руки в карманы. – Второй убит точно таким же способом. Найден буквально в двух шагах от первого. Разрублен тем же оружием – как мы знаем, преступник унес клинок с собой.

– Да-да, я помню, – смиренно отозвался отец Браун. – И все-таки вряд ли Брейн мог отрезать эту голову.

– Почему? – с научным интересом спросил доктор Симон.

Священник выпрямился и снова заморгал:

– Доктор, а разве может человек отрезать голову самому себе? По-моему, сомнительно.

О’Брайену почудилось, что мир вокруг пошатнулся; однако доктор деловито подскочил к голове и отвел со лба мокрые седые волосы.

– О, это, безусловно, Брейн, – вполголоса заметил Браун. – У него на левом ухе был такой шрамик...

Сыщик, не сводя сверкающего взора с отца Брауна, разомкнул стиснутые губы и резко проговорил:

– А вы много о нем знаете.

– Да, – просто ответил низенький священник. – Мы с ним почти целый месяц тесно общались. Он подумывал принять католичество.

Глаза Валантэна зажглись фанатическим огнем; сыщик подскочил к патеру, сжимая кулаки.

– Быть может, – вскричал он с презрительной насмешкой, – Брейн и денежки свои подумывал оставить вашей церкви?

– Быть может, – невозмутимо отозвался отец Браун. – Это не исключенно.

– В таком случае, – крикнул Валантэн с ужасной улыбкой, – вы и в самом деле немало о нем знаете! О его жизни и его...

Майор О’Брайен тронул сыщика за локоть:

– Валантэн, бросьте эту нелепую клевету, не то как бы снова не пришлось взяться за сабли!

Однако Валантэн уже и сам опомнился под спокойным, кротким взглядом священника.

– Впрочем, – бросил он отрывисто, – личные мнения могут и подождать. Джентльмены, вы по-прежнему связаны обещанием не покидать этот дом; придется вам самим проследить за собой... и друг за другом. Если вы еще что-то хотите узнать, Иван вам расскажет, а мне нужно написать отчет. Больше нельзя скрывать случившееся. Если будут еще новости – я у себя в кабинете.

– Есть еще новости, Иван? – спросил доктор Симон, как только глава парижского сыска вышел за дверь.

– Только одна подробность, сэр, – ответил Иван, по-стариковски сморщившись. – Но на свой лад тоже довольно важная. Тот старикан, которого вы нашли в саду... – Слуга весьма непочтительно указал пальцем на покойника в черном костюме и с желтым лицом. – Мы выяснили, кто он такой.

– Да неужели! – изумился доктор. – И кто же?

– Его имя – Арнольд Беккер, – сообщил помощник детектива. – Хотя у него была куча вымышленных имен. Сам он шатался по свету без дела; побывал и в Америке. Там, видно, и перешел дорогу Брейну. Мы с ним почти не сталкивались; он занимался безобразиями в основном в Германии. Конечно, мы связались с немецкой полицией. Но что любопытно – у него был брат-близнец, Луи Беккер, так вот с этим мы как раз очень даже сталкивались. Прямо-таки

вчера отправили его на гильотину. Странное дело, джентльмены, – я так и вздрогнул, когда увидел, как он лежит в саду на травке. Я бы поклясться мог, что это Луи Беккер и есть, если бы не видел собственными глазами, как того казнили. Потом-то я уж вспомнил про близнеца в Германии и начал поиски...

Тут Иван прекратил объяснения, потому что его никто не слушал. Майор и доктор устали на отца Брауна, а тот поднялся с места, прижав ладони к вискам, словно от сильной боли.

– Стойте, стойте! – закричал священник. – Помолчите минутку! Я никак не могу увидеть целое! Боже, дай мне силы! Когда-то я умел неплохо думать... Мог любую страницу из Фомы Аквинского пересказать своими словами. Сейчас у меня голова лопнет – или прозреет наконец? Я не вижу целого! Вижу только половину!

Он замер, мучительно обхватив голову руками, словно в раздумье или в молитве. Остальные только созерцали очередное чудо – последнее за эти безумные двенадцать часов.

Наконец отец Браун опустил руки, открыв лицо, серьезное и ясное, как у ребенка, и проговорил с тяжелым вздохом:

– Покончим с этим по возможности скорее. Слушайте, вот так будет быстрее всего объяснить вам правду. У вас, доктор Симон, голова хорошо работает. Я слышал утром, вы перечислили пять самых трудных вопросов в этом деле. Задайте их, пожалуйста, снова, а я отвечу.

Симон от неожиданности уронил пенсне, однако немедленно выполнил просьбу:

– Первый вопрос: зачем убивать громоздкой саблей, когда можно убить человека маленьким кинжальчиком?

– Кинжалом невозможно отсечь голову, – спокойно ответил отец Браун. – А для этого убийства отсечение головы было совершенно необходимо.

– Почему? – поинтересовался О’Брайен.

– Следующий вопрос? – осведомился отец Браун.

– Почему тот человек не крикнул, не позвал на помощь? – спросил в свою очередь доктор. – Размахивать саблей в саду – не самое обычное занятие.

– Прутики, – мрачно произнес отец Браун, подходя к окну с видом на место убийства. – Никто не сообразил, в чем была их роль. Почему они валялись посреди лужайки – взгляните! – так далеко от деревьев? Они не были отломаны – они были разрублены! Убийца отвлек своего врага, показывая фокусы с саблей, – рубил подброшенные в воздух ветки или еще что. А когда враг наклонился посмотреть на результат этих упражнений – бесшумный взмах, и голова покатила по земле.

– Ну-у, – протянул доктор. – Это, пожалуй, вполне похоже на правду. Однако следующие два вопроса кого угодно поставят в тупик!

Священник молча ждал, критически глядя в окно.

– Все вы знаете, что сад со всех сторон непроницаем, словно герметичная камера, – продолжал доктор. – Каким же образом посторонний сумел пробраться в сад?

Маленький патер, не оборачиваясь, ответил:

– В саду не было посторонних.

Последовала долгая пауза, и тут взрыв почти детского смеха разрядил напряжение. Нелепая реплика священника подвигла Ивана на открытую издевку:

– Ага, выходит, мы вчера вечером не притащили на диван тяжеленный труп? Он, стало быть, не проник вчера в сад?

– В сад? – задумчиво переспросил отец Браун. – Нет, не совсем.

– Пропади все пропадом! – не выдержал Симон. – Человек или приходит в сад, или не приходит!

– Не обязательно, – возразил священник со слабой улыбкой. – Доктор, какой ваш следующий вопрос?

– По-моему, вы больны, – резко проговорил доктор Симон. – Но я задам свой вопрос, если хотите. Как Брейн выбрался из сада?

– Он не выбрался, – ответил священник, по-прежнему глядя в окно.

– Не выбрался из сада? – возмутился Симон.

– Не совсем, – уточнил отец Браун.

Вся французская логика вскипела в докторе; он закричал, потрясая кулаками:

– Человек или выходит из сада, или остается в саду!

– Не всегда, – заметил отец Браун.

Доктор Симон в гневе вскочил:

– Некогда мне пустой болтовней заниматься! Если вы не понимаете, что человек может находиться либо по одну сторону стены, либо по другую, то мне с вами и разговаривать не о чем!

– Доктор, – мягко отвечал священник, – мы с вами всегда отлично ладили. Хотя бы ради старой дружбы – останьтесь и задайте ваш пятый вопрос.

Симон раздраженно опустил в кресло у самой двери и проговорил отрывисто:

– На голове и плечах были очень странные отметины – словно кто-то рубил их уже после смерти.

– Да, – сказал недвижимый патер. – Это сделали специально, чтобы вы пришли к одному неверному выводу – и вы к нему пришли. Более того, считаете его само собой разумеющимся. Это было сделано, чтобы вы решили, будто голова принадлежала телу.

В кельтской душе О’Брайена сместилась граница разума – та, за которой рождаются чудовища. Ему вдруг представились все полулюди-полукони и полуженщины-полурыбы, каких только измыслила противоестественная фантазия с начала времен. Голос куда древнее его праотцев нашептывал: «Берегись чудовищного сада, где растет дерево, двойные плоды приносящее! Беги из ужасного сада, где умер человек с двумя головами». Но в то самое время, когда эти постыдные символические образы проносились в древнем зеркале его ирландской души, разум О’Брайена, успевший пропитаться французским рационализмом, наблюдал за отцом Брауном внимательно и недоверчиво, как и прочие присутствующие.

А отец Браун отвернулся наконец от окна. Лицо его на фоне яркого света скрывала густая тень, однако даже так было видно, что он бледен как полотно. Впрочем, заговорил он вполне рассудительно, словно и нет на свете пылкого кельтского воображения.

– Джентльмены! – сказал маленький священник. – Вы не нашли вчера мертвое тело незнакомца по фамилии Беккер. И вообще не нашли незнакомое мертвое тело. Перед лицом вашей, доктор Симон, логики я все-таки утверждаю, что Беккер присутствовал в саду лишь отчасти. Смотрите! – Он указал на черную громаду загадочного трупа. – Этого человека вы никогда в жизни не видели. А этого?

Он быстро откатил в сторону желтую лысую голову неизвестного и приставил на ее место вторую, с гривой спутанных седых волос.

Ошибиться было невозможно – перед ними, единый и целый, лежал Джулиус К. Брейн.

Отец Браун негромко продолжал:

– Убийца отрубил голову своему врагу, а саблю перебросил через стену. Но он был слишком умен и бросил не только саблю. Он зашвырнул за стену и голову. Оставалось только пристроить к трупу другую голову, запасную, и всем вам представился совершенно незнакомый человек – а посторонним нам велели не привлекать к расследованию.

– Пристроил другую голову! – О’Брайен выпучил глаза. – Какую еще другую? Головы на кустах, что ли, растут?

– Нет, – сдавленно ответил патер Браун, глядя себе под ноги. – Они растут совсем в ином месте. В корзине возле гильотины, рядом с которой не более чем за час до убийства находился глава сыскной полиции Аристид Валантэн. Ах, друзья мои, послушайте меня еще

минуту, прежде чем разорвать на куски. Валантэн – честный человек, если можно назвать честностью безумие во имя сомнительной цели. Но разве вы раньше не замечали в его холодных серых глазах безумия? Он готов на все, на все абсолютно, лишь бы разрушить то, что он называет «суеверием Креста». Ради этого он боролся и голодал, а теперь пошел и на убийство. До сих пор сумасшедшие миллионы Брейна расходились по множеству мелких сект, не слишком нарушая устоявшийся порядок вещей. Однако ушей Валантэна достигли слухи о том, что Брейн, как и многие бессистемные скептики, постепенно склоняется к нашей вере, а это уже совсем другое дело. Деньги Брейна дали бы новые силы обедневшей и воинственной французской церкви; он мог бы содержать шесть националистических газеток в духе «Гильотины». Исход битвы висел на волоске, и фанатик ринулся в атаку. Решившись уничтожить Брейна, он взялся за дело так, как и подобает величайшему сыщику совершить свое единственное преступление. Под предлогом какого-нибудь криминологического исследования он забрал отрубленную голову Беккера и привез ее домой в служебной шкатулке. В последний раз он попытался урезонить Брейна – лорд Галлоузэй услышал обрывок этого спора. Потерпев неудачу, Валантэн вывел миллионера в уединенный сад, завел речь о фехтовании, продемонстрировал свое мастерство при помощи сабли и прутиков, а затем...

Иван, человек со шрамом, вскочил и заорал:

– Да вы псих! Идите сейчас же к моему хозяину, или я вас за шиворот поволоку...

– Да я и так собирался, – мрачно ответил священник. – Нужно попросить его сознаться и так далее...

Гоня перед собой злосчастного Брауна, словно заложника или жертву на заклятие, они ввалились в неожиданно тихий кабинет Валантэна.

Великий сыщик сидел за письменным столом, не обращая внимания на шум, – должно быть, слишком углубился в работу. В следующий миг некая странность в очертаниях его элегантно прямой спины заставила доктора рвануться вперед.

Один взгляд и одно прикосновение убедили его в том, что на столе перед Валантэном лежит коробочка с пилюлями, а сам Валантэн сидит в кресле мертвый. На ослепшем лице самоубийцы застыла гордыня, какая и не снилась Катону.

Странные шаги

Пер. И. Моничева

Если вам доведется встретить члена элитного клуба «Двенадцать лучших рыболовов», входящего в отель «Вернон» для участия в ежегодном торжественном клубном ужине, вы заметите на нем, когда он снимет плащ, зеленый, а не черный фрак. Если же (хотя для этого вам необходимо обладать достаточной отвагой и, невзирая на лица, обратиться к столь важной персоне) вы еще и спросите о причине подобного чудачества, он, вероятно, небрежно ответит, что не желает быть принятым за официанта. И вы, стусевавшись, отойдете в сторону, но при этом вам останется неизвестной и неразгаданной тайна, история которой поистине достойна изложения.

А если (мы продолжаем здесь ряд маловероятных случайностей) вы встретите скромного, вечно занятого маленького священника по имени отец Браун и поинтересуетесь, при каких обстоятельствах, по его мнению, ему сопутствовала самая памятная в жизни удача, он, скорее всего, скажет, что фортуна в наибольшей степени улыбнулась ему как раз в отеле «Вернон», где он предотвратил преступление и, вполне возможно, спас душу человеческую, просто вслушавшись в шаги, доносившиеся из коридора. Он с полным правом немного горд своей невероятной и в какой-то степени чудесной догадливостью, а потому может даже пожелать упомянуть о ней в разговоре. Но поскольку представляется практически невозможным, что вы когда-либо достигнете в свете таких высот, чтобы попасть в клуб «Двенадцать лучших рыболовов», или падете настолько низко и встретите среди отбросов общества и преступников отца Брауна, боюсь, вам никогда не суждено услышать этой истории ни от кого, кроме как от меня.

Отель «Вернон», где «Двенадцать лучших рыболовов» проводили свой ежегодный ужин, принадлежал к числу заведений, какие могут существовать только в олигархическом обществе, почти свихнувшемся на соблюдении самых нелепых правил хорошего тона. Он стал именно подобным «привилегированным» коммерческим предприятием, где все поставлено с ног на голову. То есть здесь зарабатывали не на том, чтобы привлекать как можно больше клиентов, а как раз за счет того, что почти всех отвергали. В мире, где правят деньги, торговцы ухитрились стать более разборчивыми, чем те, кого они призваны обслуживать. Они намеренно создают проблемы, чтобы их богатая и скукающая клиентура тратила как можно больше денег и прибегала к самым изощренным дипломатическим усилиям для преодоления искусственно воздвигнутых преград. Если бы в Лондоне открылся модный клуб, куда не пускали бы никого, кто ниже шести футов ростом, светское общество покорно стало бы устраивать там ужины только для долговязых мужчин. Если бы существовал безумно дорогой ресторан, который в силу чистого каприза своего владельца работал бы только по четвергам после полудня, каждый четверг там яблоку негде было бы упасть. Отель «Вернон» как бы ненароком расположился в углу одной из площадей фешенебельного района Белгравия. Причем это был маленький и очень неудобный отель. Но даже сами по себе его неудобства считались надежной оградой покоя для людей, принадлежавших к высшему общественному классу. И одно из неудобств в особенности имело для этого крайне важное значение: тот факт, что одновременно в отеле могли собраться к ужину не более двадцати четырех человек. Единственным большим обеденным столом здесь был знаменитый стол на террасе, располагавшийся на открытом воздухе с видом на один из самых красивых старых садов Лондона. А потому получалось, что разместить за ним даже двадцать четыре участника трапезы удавалось лишь при теплой погоде, делая доступ к ужину в отеле еще более затруднительным, а значит, тем более вожделенным. Нынешним владельцем отеля был еврей по фамилии Левер, сколотивший почти миллионное состояние, максимально затруднив в него доступ. Но, разумеется, он сочетал исключительную закрытость своего заведения с не менее тщательной заботой о его высочайшем качестве. Выбор вин и кухня находи-

лись на уровне лучших европейских стандартов, а вышколенная обслуга вела себя в точном соответствии с устоявшимися вкусами английского правящего класса. Хозяин знал всех своих официантов как пять пальцев на руке; всего же их насчитывалось пятнадцать. Причем куда легче было стать членом парламента, чем получить работу официанта в этом отеле. Каждый из них проходил суровое обучение сдержанности и обходительности, словно ему предстояло стать личным камердинером истинного джентльмена. И в самом деле, обычно на одного обедающего джентльмена в отеле приходился по крайней мере один официант.

Клуб «Двенадцать лучших рыболовов» не согласился бы устраивать свои обеды нигде, кроме как в таком месте, поскольку его члены настаивали на роскоши абсолютной приватности и были бы крайне расстроены от одной только мысли, что кому-то другому дозволено устроить ужин в том же помещении одновременно с ними. По случаю ежегодного ужина у рыболовов вошло в привычку извлекать на свет божий все свои сокровища, как это было принято в частных домах. И их главной ценностью считался прославленный набор рыбных ножей и вилок с эмблемой клуба, в котором каждая вещь представляла собой изделие ручной работы из серебра в форме рыбки с украшением в виде крупной жемчужины на ручке. Приборы всякий раз выкладывали на стол перед подачей блюда из рыбы, а рыбное блюдо неизменно становилось самым великолепным украшением столь блестящего пиршества. У клуба сложилось великое множество церемоний и ритуалов, хотя при этом он не имел ни богатой истории, ни какой-либо цели, что и делало его столь утонченно аристократичным. Вам не нужно было ничего добиваться в жизни, чтобы стать одним из двенадцати избранных; если вы уже не являлись определенного сорта личностью, то никогда не узнали бы, что такой клуб есть вообще. Между тем существовал он уже двенадцать лет. Его президентом был мистер Одли. Вице-президентом – герцог Честерский.

Если мне хотя бы до некоторой степени удалось передать атмосферу этого чрезвычайно необычного клуба, у читателя может возникнуть недоуменный вопрос, как я сам сумел узнать о нем так много, и уже тем более его заинтересует, каким образом столь заурядная персона, как мой друг отец Браун, оказалась, фигурально выражаясь, в стенах этого золотого дворца. В этой своей части моя история крайне проста и даже несколько низменна. Существует в этом мире один очень древний бунтарь и демагог, который порой врывается в самые роскошные чертоги с крайне неприятным известием, что все люди – братья, все созданы равными, и куда бы этот извечный уравниватель не прискакал на своем бледном коне¹⁰, профессия отца Брауна повелевает следовать за ним. В тот день у одного из официантов, итальянца по происхождению, случился инсульт, и его еврейский работодатель, удивляясь про себя столь странному суеверию, согласился послать за первым попавшимся под руку папистским священнослужителем. В каких грехах умирающий исповедался отцу Брауну, нам неизвестно по той простой причине, что священник, как и положено, сохранил тайну исповеди, но, по всей видимости, последней волей итальянца стала просьба написать за него письмо или заявление, имевшее целью передать некое сообщение, а возможно, даже исправить свершившуюся в прошлом несправедливость. Поэтому отец Браун с мягкой настойчивостью, какую, уверяю вас, он проявил бы даже в самом Букингемском дворце, попросил предоставить ему помещение и письменные принадлежности. Мистер Левер испытал при этом двойственные чувства. Он был человеком добрым, хотя за доброту часто принимал собственное отвращение к всевозможным проблемам и сложным ситуациям. В то же время присутствие странного чужака в отеле особенно тем вечером воспринималось им как грязное пятно на чем-то, только что до блеска вычищенном. В отеле «Вернон» никогда не существовало ни приемной, ни холла при входе, где могли бы расположиться в ожидании посторонние люди, куда грозили бы случайно попасть неожиданные гости.

¹⁰ По евангельской легенде, на бледном коне скачет один из четырех всадников Апокалипсиса – Смерть. – *Здесь и далее примеч. пер.*

Всегда имелись в наличии пятнадцать официантов. Всегда ожидалось одни и те же двенадцать клиентов. И обнаружить в отеле перед самым ужином новое лицо было так же поразительно, как узнать, что в твоей собственной семье к завтраку или к чаю явился прежде неведомый брат или другой родственник. Более того, священник выглядел каким-то заштатным, второсортным, в неряшливом и местами испачканном облачении; даже случайная встреча с ним гостей, один лишь взгляд издалека, и среди членов клуба могли возникнуть непредвиденные настроения, даже нечто сродни кризису. В итоге мистеру Леверу удалось придумать план сокрытия, если не полного устранения позорного пятна на репутации отеля. Когда вы входите (чего, разумеется, не произойдет ни при каких условиях) в отель «Вернон», то попадаете в короткий коридор, украшенный потускневшими, но весьма ценными картинами, и ведущий в главный вестибюль и в зал для отдыха, где справа располагаются гостевые комнаты, а влево уходит другой коридор в сторону кухни и прочих подсобных помещений отеля. Еще левее, в самом углу, находится застекленная конторка, граничащая с залом отдыха, напоминающая, если можно так выразиться, дом внутри дома и очень похожая на обычный отельный бар, который, вероятно, здесь раньше и присутствовал.

В этой конторке должен был восседать представитель владельца (но обычно избегал этого всеми возможными способами), а позади конторки, уже на пути к предназначенной для прислуги части отеля, была устроена гардеробная для джентльменов – самый дальний предел, куда могли попасть гости. Как раз между застекленной конторкой и гардеробом помещалась крохотная проходная комнатка, порой используемая владельцем для деликатных и важных дел, для решения столь насущных вопросов, как одолжить ли очередному герцогу тысячу фунтов или отказаться ссудить хотя бы шестью пенсами. И не лучшее ли это доказательство несравненной терпимости мистера Левера, что он разрешил осквернить столь святое для себя место, разрешив на полчаса воспользоваться им простому священнику, который что-то там должен был накорябать на листке бумаги. История, которую записывал отец Браун, была, возможно, гораздо интереснее нашей истории, но только мы никогда этого не узнаем. Могу лишь заверить вас, что она оказалась почти столь же длинной, а ее заключительные абзацы стали как раз наименее волнующими и увлекательными.

Потому что, как только он дошел до них, священник позволил своим мыслям некоторую расслабленность, а его всегда такие острые животные инстинкты вновь проснулись. Темнело, приближалось время ужина, а поскольку в маленькой коморке не было лампочки, сгустившийся полумрак, как это иногда случается, обострил слух. И пока отец Браун дописывал последнюю и наименее важную часть документа, он поймал себя на ощущении, что пишет под повторяющийся ритмичный шум снаружи, подобно тому, как порой человек размышляет под стук колес поезда. Осознав это, отец Браун скоро понял, что именно ему слышалось: всего-навсего обычный звук шагов мимо двери, что в отеле воспринималось совершенно нормальным явлением. Но он тем не менее вскинул голову, глядя на потемневший потолок, и вслушался в звук. Несколько секунд он делал это машинально и рассеянно, но затем вдруг поднялся на ноги и стал слушать с напряженным вниманием, чуть склонив голову набок. Потом снова сел и прикрыл лицо ладонями, уже не только слушая, но и обдумывая услышанное.

Шаги, доносившиеся снаружи, в каждый отдельный момент звучали шагами, какие вы могли бы услышать в любом отеле, но, объединенные в единое целое, производили очень странное впечатление. Никаких других шагов не раздавалось. В отеле почти всегда царила тишина, потому что прибывшие гости сразу расходились по своим апартаментам, а вышколенную прислугу приучили быть невидимой и неслышимой до тех пор, пока она не становилась нужна. И все равно едва ли существовала причина считать, что происходит нечто, выходящее за привычные рамки. Вот только эти шаги казались настолько необычными, что их трудно было сразу отнести к разряду привычного или непривычного. Отец Браун проследил за ними, проводя

пальцем по краю стола, уподобившись человеку, который пытается разучить мелодию на пианино.

Сначала донеслась долгая серия поспешных легких шажков, подобных тем, какими очень худой легкоатлет выигрывает соревнования по спортивной ходьбе. В какой-то момент шажки замерли, а затем перешли в нечто вроде медленного, вразвалочку топота – число шагов сократилось на три четверти, но по времени они продолжались ровно столько же. Но как только затихало эхо последнего тяжелого шага, снова доносился легкий звук частых шажков, издаваемых торопливыми, почти бегущими ногами, опять сменяясь затем грузным размеренным топотом. Причем источником звуков была одна и та же пара обуви. Это становилось понятно, во-первых, потому, что никого больше там находиться попросту не могло, а во-вторых, потому, что ботинки издавали чуть слышный, но совершенно одинаковый характерный скрип. Голова отца Брауна была устроена так, что он всегда поневоле начинал задаваться вопросами, а от размышлений над столь, казалось бы, тривиальной проблемой голова святого отца буквально раскалывалась. Ему доводилось видеть, как люди разбегаются, чтобы прыгнуть. Он наблюдал разбег перед скольжением. Но зачем, во имя всего святого, кому-то нужно было разбежаться, а потом просто идти? А никакого другого определения для того, что вытворяли эти невидимые ноги, подобрать не удавалось. Человек либо очень быстро преодолевал первую часть коридора, чтобы спокойно пройти оставшийся путь, либо торопливо добегал до стены, а потом степенно возвращался к центру. Ни один из вариантов не имел разумного объяснения. В мозгу отца Брауна сгущался мрак, как сгущался он и в комнате.

Но стоило ему заставить себя мыслить более последовательно, как даже темнота в коморке, казалось, начала способствовать умственной работе. Он стал пытаться создавать нечто вроде визуальных образов этих немислимых ног, выделявавших в коридоре нечто неестественное или же символическое. Быть может, это какой-то варварский языческий танец? Или же принципиально новый тип разработанного наукой физического упражнения? Отец Браун принялся задавать сам себе более значимые и целенаправленные вопросы о том, что могли означать шаги. Взять для начала более тяжелые. Это точно не было походкой владельца отеля. Мужчины его типа ходили грузно и враскачку, но все же быстрее, хотя большую часть времени вообще проводили в удобных креслах. Не мог это быть слуга или посыльный, дождавшийся, чтобы ему вручили депешу. Звук не тот. Существа низшего порядка (в олигархической иерархии) иногда позволяют себе шалости в легком подпитии, но все же обычно, особенно попав в столь роскошную обстановку, предпочитают вести себя сдержанно и стоять на месте, чуть оробев. Нет. Подобный тяжелый, но в то же время пружинистый шаг, бездумный и беззаботный, не особенно шумный, но и не старающийся приглушить себя, мог принадлежать только одному типу живых организмов, населяющих Землю. Это был джентльмен из Западной Европы, которому, скорее всего, никогда не приходилось работать, чтобы добывать средства к существованию.

Как только отец Браун приобрел в этом достаточно прочную уверенность, шаги сменились на быстрые и пробежали мимо двери с лихорадочной поспешностью крысы. Слушатель отметил, что эти шаги были не только значительно проворнее, но и отличались еще и почти полной бесшумностью, словно человек двигался на цыпочках. Однако в уме отца Брауна они не ассоциировались со скрытностью, а наводили на какое-то другое сравнение – он только не мог вспомнить, на какое именно. Его привело в ярость это неполное воспоминание, от которого у него возникло ощущение, что и мозг функционирует не в полную силу. Ведь он определенно уже где-то слышал такие же странные, легкие и быстрые шажки. Внезапно он вскочил на ноги, осененный новой идеей, и подошел к двери. Его комнатка не имела прямого выхода в коридор. С одной стороны соседствовала застекленная контора, а с другой – гардеробная, находившаяся почти рядом с ней. Он потрогал ручку стеклянной комнаты, но дверь оказалась заперта. Затем посмотрел в окно, квадрат которого теперь полностью занимало пур-

пурное облако, окрашенное закатным солнцем, и в то же мгновение почуял зло, как собаки чуют запах крыс.

Рациональность в его мышлении (к лучшему то было или нет) одержала верх. Отец Браун вспомнил, что владелец запер его со стороны конторы, пообещав выпустить позже. Потом убедил себя, что у эксцентричных звуков снаружи может быть двадцать вполне внятных объяснений, не пришедших пока ему в голову. Вспомнил и о том, что у него оставалось еще совсем немного света, чтобы успеть закончить порученную ему работу. Положив лист на подоконник, чтобы воспользоваться последними лучами, падавшими в каморку с темневшего предгрозового неба, он решительно погрузился в завершающую стадию своих записей, которые близились к концу. Так он писал почти двадцать минут, склоняясь над листком все ниже по мере ухудшения освещения. Потом вдруг снова выпрямился. Странные шаги донеслись опять.

На этот раз в них присутствовала третья особенность. Прежде неизвестный мужчина двигался легко и быстро, почти бежал, но все-таки это скорее была поспешная ходьба. Сейчас он действительно перешел на настоящий бег. Были слышны торопливые мягкие прикосновения ступней к полу вдоль коридора, похожие на звуки, издаваемые убегающей от врага пантеры, готовой к прыжку. Кем бы ни оказался этот человек, он был силен, активен и до крайности возбужден. И все же стоило ему миновать контору, промчавшись мимо нее с шелестом легкого вихря, как поступь снова сменилась на медленный и тяжелый топот.

Отец Браун оставил свою бумагу и, зная, что дверь офиса заперта, сразу пошел в гардеробную с тыльной ее части. Гардеробщик там отсутствовал. Вероятно, временно. Обед единственных гостей отеля был в самом разгаре, и делать ему было нечего. Пробравшись через серый лес пальто и плащей, отец Браун обнаружил, что из темной гардеробной можно попасть в ярко освещенный коридор через половину двери, изготовленной в виде стойки, такой же, на которые мы, например, кладем свою верхнюю одежду и зонты в любом театре, получая взамен номерки. Яркая люстра была подвешена прямо над полукруглым незакрытым проемом двери, но она почти не бросала света на самого отца Брауна, который представлялся сейчас со стороны, должно быть, лишь темным силуэтом на фоне расположенного у него за спиной окна с догоравшим закатом. Зато светильник с яркостью театрального софита заливал сиянием мужчину, стоявшего в коридоре перед гардеробной.

Он был элегантен даже в самого простого покроя вечернем костюме: высокий, но при этом занимавший не слишком много пространства. Создавалось ощущение, что такой мог бы проскользнуть незамеченным, как тень, там, где даже более мелкие и низкорослые мужчины бросились бы в глаза любому. Его лицо при хорошей подсветке выглядело смуглым и жизнерадостным. Лицо иностранца. Он был прекрасно сложен, а держался с налетом легкого юмора и уверенностью в себе. Впрочем, более придирчивый наблюдатель отметил бы, что его черный фрак выглядел чуть дешевле, чем пристало мужчине с такой фигурой и манерами – он даже местами сидел мешковато, а на груди странным образом топорщился. Как только он заметил темный силуэт отца Брауна на фоне заката, то сунул ему в руку бумажку с напечатанным на ней номером и произнес с дружелюбной властью:

– Выдайте мне мои пальто и шляпу, пожалуйста. Обнаружилось, что мне необходимо срочно уйти.

Отец Браун безмолвно взял номерок и покорно отправился искать пальто; ему не впервой было заниматься чужой работой – приходилось в жизни брать на себя и более трудные обязанности других людей. Он принес пальто и положил его поверх стойки. Между тем странный джентльмен, порывшись по карманам жилета, со смехом сказал:

– У меня нет при себе серебра. Возьмите вот это.

И он бросил золотую монету в полсоверена, взявшись за свое пальто.

Фигура отца Брауна оставалась погруженной во мрак и неподвижной, но в этот момент он потерял голову. А его голова представляла особую ценность, именно когда он терял ее. В такие

моменты, сложив два и два, он получал в ответе миллион. Католическая церковь (которая вся основана на здравом смысле) очень часто не одобряла этого. Бывало, что этого не одобрял он сам. Но на него накатило редкое вдохновение – столь важное в минуты подлинных кризисов – и то самое, из-за чего он рисковал лишиться головы, спасло ее.

– Думаю, сэра, – произнес он очень вежливо, – что у вас в одном из карманов найдется немало серебра.

Высокий джентльмен уставился на него.

– Бросьте, – воскликнул он. – Если я предпочитаю дать вам на чай золото, с чего вам жаловаться?

– Потому что серебро порой гораздо ценнее золота, – тихо ответил священник. – В тех случаях, когда серебра много.

Незнакомец с интересом посмотрел на него. А затем с еще большим любопытством бросил взгляд в сторону входной двери. После чего вновь повернулся в сторону отца Брауна, но с особым вниманием взгляделся в окно за его спиной, по-прежнему окрашенное багряными отсветами заката, когда грозовая туча прошла мимо. Потом он принял решение. Опершись на стойку, он с легкостью акробата перемахнул через нее и встал рядом со святым отцом, возвышаясь над ним башней и ухватив одной огромной рукой за ворот.

– Стойте тихо, – сказал он отрывистым шепотом. – Не хочу угрожать вам, но...

– Зато я хочу пригрозить вам, – голос отца Брауна звучал как дребезжащий барабан. – Я хочу пригрозить вам тем местом, где червь грешников не умирает и огонь не угасает¹¹.

– Какой-то вы странный гардеробщик, – сказал мужчина.

– Я – священник, мсье Фламбо, – отозвался Браун, – и готов вас исповедовать.

Его собеседник какое-то время стоял молча, пытаясь ловить ртом воздух, потом попятился и упал в кресло.

Две первые перемены блюд за ужином членов клуба «Двенадцать лучших рыбаков» имели умеренный успех. У меня нет копии меню, но даже если бы я ее имел, то не смог бы никому ничего сообщить. Оно было написано на том псевдофранцузском языке, который используют повара, но не разбирают даже сами французы. В клубе сложилась традиция, что закуски подавались разнообразные и многочисленные до умопомрачения. К ним относились серьезно, поскольку они были столь же излишни, чрезмерны и бессмысленны, как и весь обед, как и само по себе существование клуба. Другая традиция заключалась в том, чтобы суп готовили легкий и без претензий – простота и строгость вкуса служили прелюдией к настоящему рыбному пиршеству, которое следовало потом. Застольный разговор звучал как привычная пустая болтовня, с помощью которой и управляют Британской империей, управляют вроде бы в глубокой тайне, но если бы простой англичанин подслушал ее, то не узнал бы для себя ничего нового. То и дело членов кабинета министров от обеих правящих партий фамильярно называли просто по именам, отзываясь о них со скучной благосклонностью. Канцлер казначейства, представитель радикальной партии, которого сторонники тори должны были бы клеймить за грабительские налоги, удостаивался похвалы за написанные на досуге легкие стишата, как высоко ценили выбор им для себя охотничьего седла. Лидер тори, кого каждый либерал обязан был ненавидеть как тирана, подвергся обсуждению и в целом получил положительную характеристику... истинного либерала. Складывалось впечатление, что, по мнению членов клуба, политические деятели были очень важны, но важным в них находили все, кроме непосредственно самой политики, которую они проводили. Мистер Одли, председатель, являл собой добродушного пожилого человека, все еще носившего воротнички по моде эпохи Гладстона. Одли вполне мог служить своего рода символом этого иллюзорного, но вполне устоявшегося клуба. Он никогда и ничего не делал и потому не совершил в жизни ни единой ошибки. Его не

¹¹ Отец Браун угрожал мсье Фламбо адскими муками, цитируя Евангелие от Марка, 9,44.

отличали ни особая сообразительность, ни даже богатство. Просто повезло попасть в нужную струю, вот и все. Ни одна партия не могла не считаться с ним. Если бы он пожелал стать министром, то, несомненно, стал бы членом кабинета. А вот герцог Честерский, вице-президент, как раз был молодой и только восходящей звездой политики. За этим определением стояла приятная внешность юноши с прилизанными светлыми волосами, веснушчатый лицом, скромными умственными способностями и огромными земельными владениями. Его появления на публике приносили неизменный успех, хотя способ добиться популярности был предельно прост. Если ему приходила в голову шутка, он шутил, не задумываясь, и прослыл блестящим остроумцем. Когда же шутка не рождалась, он заявлял, что сейчас не время размениваться на пустяки, и его считали серьезным политиком. А в интимной обстановке клуба, среди своих, он становился просто до неприличия откровенным и глупеньким, как школьник. Мистер Одли, никогда не занимавшийся политикой сам, относился к ней серьезнее всех. Порой он ставил своими фразами в неловкое положение всю компанию, когда, например, высказывал предположение, что существует некая разница между либералами и консерваторами. Сам он считал себя консерватором, причем даже в личной жизни. Серые волосы волнами ниспадали на заднюю часть воротника, как у несколько старомодного государственного деятеля, и со спины он казался именно тем человеком, в котором так нуждается империя. Зато при взгляде спереди выглядел мягкотелым, избалованным, чревоугодливым холостяком с комнатами в «Олбани»¹², кем и был на самом деле.

Как уже отмечалось, за столом на террасе могли сесть к ужину двадцать четыре человека, но членов клуба насчитывалось всего двенадцать. А потому они имели возможность расположиться за ним самым комфортабельным образом, занимая только одну сторону стола, чтобы никто не сидел напротив, заслоняя вид на бесподобный сад, все еще игравший живыми красками, хотя вечер сегодня наступил несколько раньше, чем обычно для такого времени года. Председатель сидел в центре, а вице-президент – на самом правом краю общей линии ужидавших. Когда двенадцать гостей впервые входили на террасу и начинали занимать свои места, стало традицией (по опять-таки неясным причинам), чтобы все пятнадцать официантов выстроились вдоль стены, уподобляясь солдатам королевского почетного караула, в то время как толстяк – хозяин отеля встречал каждого поклоном, сияя радостным удивлением, словно видел их всех впервые в жизни. Однако еще до того, как раздавался первый звон вилок и ножей о тарелки, вся эта армия obsługi исчезала, и оставались только два, а порой и вовсе всего один официант, чего вполне хватало, чтобы проворно подносить и убирать блюда, не произнося при этом ни слова.

Сам мистер Левер, хозяин, уходил задолго до этого, извиваясь в конвульсиях вежливости. И было бы преувеличением, несколько даже неуважительным по отношению к нему, утверждать, что за весь вечер он хотя бы раз появлялся среди гостей снова. Лишь только когда самое главное блюдо ужина – рыбное, разумеется, – подавалось к столу, создавалось впечатление, что (даже не знаю, как это лучше описать) его незримая тень, некая проекция его фигуры мелькала рядом, давая ощутить всем его эфемерное присутствие при сем торжественном моменте. Священное рыбное блюдо являло собой (на вульгарный взгляд простолюдина) нечто вроде чудовищного пудинга размерами со свадебный торт кулинарного монстра, где огромное количество разнообразных и примечательных рыбин окончательно теряли формы, которыми наградил их Бог. Двенадцать лучших рыбаков брались за свои знаменитые ножи и вилки, относясь к каждому дюймовому кусочку этого пудинга настолько бережно и серьезно, словно он стоил не меньше той серебряной вилки, с помощью которой его поедали. Хотя, насколько мне известно, так оно примерно и выходило. С этим блюдом гости расправлялись с аппетитом и в почтитель-

¹² «Олбани» – знаменитый особняк XVIII века на Пикадилли в Лондоне, который с 1802 года домовладелец разделил на роскошные апартаменты для одиноких обеспеченных мужчин.

ном молчании, и только когда тарелка молодого герцога оказалась почти пуста, он отпустил очередную ритуальную реплику:

– Такое умеют готовить только здесь.

– И нигде больше, – поддержал его мистер Одли своим глубоким басом, поворачиваясь к оратору и несколько раз утвердительно кивая в знак одобрения его слов. – Нигде, уверяю вас, кроме как здесь. Некоторые утверждают, что в кафе «Англэ»...

На этом его перебили и даже на мгновение возмутили, убрав пустую тарелку, но он сумел не упустить нить своей ценнейшей мысли и снова ухватиться за нее.

– Некоторые утверждают, что в кафе «Англэ» способны изготовить нечто подобное. Ничего похожего, сэр, – произнес он тоном судьи, выносящего смертный приговор. – Ничего похожего на это.

– И вообще, то кафе имеет чересчур раздутую репутацию, – заявил полковник Паунд, который (как могло показаться по его виду) произнес первые слова после нескольких месяцев молчания.

– О, право, не знаю, – возразил ему вечный оптимист герцог Честерский. – Там неплохо готовят кое-какие другие блюда. Например, подают несравненный...

На террасу неслышно вошел официант и вдруг встал как вкопанный. Остановился он так же тихо, как и ходил, но все сидевшие за столом почтенные и утонченные джентльмены настолько привыкли к непрерывной и гладкой работе того механизма, который их окружал и обеспечивал плавное течение жизни, что официант, сделавший нечто неожиданное, поистине удивил и поверг их в шок. Они почувствовали себя так же, как мы с вами, если бы нам неожиданно перестал подчиняться мир неодушевленных предметов – к примеру, взял и убежал какой-нибудь стул.

Официант постоял, глядя куда-то, несколько секунд, а между тем на каждом лице за столом постепенно появлялось странное стыдливое выражение, которое целиком является продуктом нашей эпохи. Это комбинация новомодного гуманизма с современной разновидностью прежней пропасти, которая разделяет души богатых и бедных людей. Истинный аристократ старой закалки начал бы швыряться в официанта чем ни попадя, начав, возможно, с пустых бутылок, а закончив, по всей вероятности, все же деньгами. Истинный демократ спросил бы его, стараясь по-товарищески упростить свою речь, какого дьявола он творит. Но эти нынешние плутократы не терпели присутствия бедного человека поблизости от себя ни в роли раба, ни в качестве друга. Если у слуги пошло что-то не так, это лишь создавало ощущение тоскливой, но острой неловкости. Они не хотели проявлять грубость, но ужасались при мысли о необходимости в снисходительности. Они желали, чтобы все просто и как можно скорее закончилось. И все закончилось. Официант, постояв несколько секунд застывшим, словно в припадке каталепсии, развернулся и как обезумевший бросился вон из помещения.

Когда он снова появился на террасе или, скорее, на пороге, его сопровождал другой официант; они перешептывались и обменивались жестами с чисто южным темпераментом. Затем первый официант удалился, оставив второго на месте, и вернулся с третьим. К тому времени, когда к взволнованному синоду obsługi присоединился четвертый официант, мистер Одли ощутил необходимость нарушить молчание в интересах Такта. Вместо президентского молотка он прибегнул к долгому кашлю, а потом сказал:

– Потрясающе справляется со своими обязанностями в Бирме молодой Мучер. Скажу прямо, ни одна другая нация в мире не смогла бы...

Пятый официант стрелой подлетел к нему и прошептал на ухо:

– Прошу извинить. Очень важный! Не мог бы хозяин говорить с вами?

Председатель растерянно повернулся и в смятении увидел мистера Левра, приближавшегося к столу с неуклюжей стремительностью. Быстрота движений, свойственная любому хорошему хозяину, выглядела обычной, но вот выражение его лица назвать обычным было

никак невозможно. Как и цвет. Обычно физиономия Левра имела приятный медно-коричневый оттенок, а сейчас она болезненно пожелтела.

– Простить меня, мистер Одли, – сказал он, задыхаясь как астматик. – Но я в большая тревога. Ваши тарелки из-под рыба уносить с ножами и вилками на них?

– Да, полагаю, так оно и было, – ответил председатель вполне добродушно.

– Вы видеть его? – все еще не отдышавшись, спросил владелец отеля. – Вы видеть здесь официанта, который все уносить? Вы знаете его?

– Знаю ли я официанта? – переспросил мистер Одли теперь уже возмущенно. – Нет, разумеется!

Мистер Леввер развел руки в стороны жестом, исполненным отчаяния.

– Я сам не посылаю его, – сказал он. – Даже не знаю, когда и почему он здесь появляться. Я послал своего официанта забрать тарелки, но он видеть, что их уже нет.

Мистер Одли в своем изумлении едва ли выглядел сейчас именно тем человеком, в котором так нуждается империя. И никто из всей компании не мог вымолвить ни слова, за исключением мужчины из дерева – полковника Паунда, – которого словно гальванизировали и неожиданно заставили ожить. Он скованно поднялся в своем кресле, пока остальные оставались сидеть, вставил в глаз монокль и заговорил так пронзительно, словно уже успел забыть, как разговаривают нормальные люди.

– Вы имеете в виду, – спросил он, – что кто-то украл наши серебряные приборы для рыбы?

Хозяин повторно развел руки в стороны, но вложил в жест еще большую беспомощность, и в одно мгновение все, кто сидел за столом, вскочили на ноги.

– Все ваши официанты здесь? – потребовал ответа полковник своим низким и сиплым тоном.

– Да, все здесь. Я сам это заметил, – воскликнул молодой герцог, высовывая свое мальчишеское лицо сквозь кольцо столпившихся людей. – Я всегда пересчитываю их, когда вхожу сюда. Так забавно видеть их строй вдоль стены!

– Но едва ли кто-то из нас может знать это точно, – сказал мистер Одли с оттенком глубокого сомнения в голосе.

– Говорю же вам, я знаю точно! – возбужденно воскликнул герцог. – Здесь никогда не было больше пятнадцати официантов, и сегодня их было тоже пятнадцать – ни больше, ни меньше.

Хозяин повернулся к нему, трепеща от осязаемого удивления.

– Вы говорите... Вы говорите, – начал заикаться он, – что вы видеть все мои пятнадцать официант?

– Да, как обычно, – подтвердил герцог. – А что здесь не так?

– Все не так, – Леввер говорил со все более заметным иностранным акцентом. – Вы не мог видеть пятнадцать. Потому что один совсем мертвый. Лежать наверху.

На мгновение в комнате воцарилась полнейшая тишина. Быть может (таков уж сверхъестественный эффект самого по себе слова «смерть»), каждый из этих привыкших к праздности людей заглянул на секунду к себе в душу и увидел, что это всего лишь крохотная высохшая горошина. Один из них – полагаю, это был герцог, – даже сказал с идиотской добротой, свойственной порой богачам:

– Мы можем чем-то вам помочь?

– У него побывать священник, – заметил хозяин, ничуть не растроганный предложением помощи.

Затем, словно грянул гром Судного дня, каждый осознал ситуацию, в которой они оказались. На какое-то короткое время они могли бы даже поверить, что пятнадцатый официант мог быть призраком мертвеца, лежавшего наверху. И тяжкий груз подобной мысли заставил

их застыть в онемении, потому что привидения вызывали у них такое же чувство неловкости, как вид нищего на улице. Однако воспоминание о вполне реальном серебре разрушило заклятие воображаемого чуда, разрушило резко и грубо. Полковник перепрыгнул через кресло и направился к двери.

– Если здесь присутствовал пятнадцатый официант, друзья мои, – сказал он, – то именно он и был вором. Скорее вниз. Нужно запереть парадную и заднюю двери. А потом поговорим. Двадцать четыре клубных жемчужины стоят того, чтобы попытаться их вернуть.

Поначалу мистер Одли колебался, достойно ли джентльмена суетиться подобным образом по любому, даже самому важному поводу. Но увидев, как вниз по лестнице сбегает полный молодого задора герцог, он двинулся вслед, хотя и более солидной походкой.

В тот же момент показался шестой официант, сообщивший, что обнаружил груды рыбных тарелок на стойке в кухне, но серебро исчезло бесследно.

Толпа, состоявшая из гостей и обслуживающего персонала, беспорядочно сгрудившаяся в коридоре, теперь разделилась на две группы. Большинство рыболовов отправились вместе с хозяином в сторону вестибюля, чтобы выяснить, не покидал ли кто-нибудь здание отеля. Полковник Паунд, председатель, вице-президент и еще несколько человек бросились по коридору в сторону служебных помещений, представлявшихся более вероятным маршрутом бегства грабителя. По пути они миновали затемненный и похожий на пещеру альков гардеробной, внутри которого заметили низкорослую, одетую в черное фигуру, стоявшую глубже в тени – вероятно, это был гардеробщик.

– Эй, вы там! – окликнул его герцог. – Не видели случайно, чтобы кто-то прошел мимо вас?

Приземистая фигура не ответила на вопрос прямо, а просто сказала:

– Возможно, то, что вы ищете, находится у меня, джентльмены.

Они остановились, покачиваясь и приходя в себя от изумления, а человек тихо отправился в глубь гардеробной и вернулся, держа в обеих руках груды сверкавшего серебра, которую выложил на стойку со спокойствием приказчика в магазине. Это были две дюжины причудливой формы вилок и ножей.

– Вы... Вы... – начал полковник, окончательно выведенный из равновесия.

Но затем он внимательнее взгляделся в сумрак маленькой комнатки и обратил внимание на две детали: во-первых, на низкорослом человеке в черном была сутана священника, а во-вторых, окно у него за спиной оказалось выбито, словно кто-то силой проложил себе через него путь наружу.

– Слишком ценные вещи, чтобы сдавать в гардеробную, верно? – заметил священник с дружелюбной улыбкой.

– Вы... Это вы украли наши приборы? – заикаясь и вытаращив глаза, спросил мистер Одли.

– Даже если я, – ответил святой отец тем же приятным тоном, – то я же вам их и возвращаю.

– Но ведь вы их не крали, – сказал полковник Паунд, все еще не сводя глаз с разбитого окна.

– Чтобы внести полную ясность: я этого не делал, – отозвался его собеседник, словно видел в ситуации забавную сторону, и с важным видом уселся на высокий стул.

– Но вы знаете вора? – спросил полковник.

– Не могу назвать вам его подлинное имя, – спокойно сказал священник, – но мне довелось понять, насколько он силен в драке, хотя еще больше я успел узнать о его духовных проблемах. Первое я сумел оценить, когда он попытался задушить меня, а моральную сторону постиг после того, как он раскаялся.

– Раскаялся? Ну, ничего себе! – воскликнул молодой герцог Честерский и рассмеялся каркающим смехом.

Отец Браун поднялся со стула и заложил руки за спину.

– Странно, не правда ли, – заметил он, – что вор и бродяга может раскаяться, в то время как столь многие, живущие в богатстве и комфорте, остаются черствыми душой и ведут себе фривольно, не принося пользы ни Богу, ни людям? Впрочем, извините меня, но здесь вы невольно вторгаетесь в мою сферу деятельности. И если вы сомневаетесь в покаянии как в свершившемся факте, то перед вами, по крайней мере, ваши ножи и вилки. Вы – двенадцать лучших рыбаков, и вот они – ваши серебряные рыбки. Меня же Он сделал рыбаком, чей улов – человеческие души.

– Так вы поймали этого человека? – поинтересовался полковник, нахмурившись.

Отец Браун посмотрел прямо в его мрачное лицо.

– Да, – ответил он. – Я поймал его на невидимый крючок с помощью невидимой лески, которая достаточно длинна, чтобы позволить ему отправиться в самый отдаленный уголок мира, но в любой момент его можно вернуть, стоит лишь подтянуть леску.

Наступило продолжительное молчание. Постепенно все разошлись, чтобы показать найденное серебро своим товарищам или обсудить с хозяином все это странное дело. Но угрюмый полковник остался, присев боком на стойку гардеробной, покачивая своими длинными худощавыми ногами и покусывая кончики темных усов.

Потом он негромко обратился к священнику:

– Думаю, вор был человеком большого ума, но, как мне кажется, я знаю кое-кого и поумнее.

– Да, он умен, – отозвался священник, – но я не совсем понял, кто тот второй человек, о котором вы упомянули.

– Вы сами, конечно, – сказал полковник и коротко рассмеялся. – Расслабьтесь, я вовсе не хочу усадить этого типа в тюрьму. Но я бы охотно отдал несколько серебряных вилок, чтобы узнать, как именно вы напали на след в этом деле и каким образом заставили его бросить похищенное. Сдается мне, вы самый большой хитрец во всей собравшейся здесь сегодня компании.

Отцу Брауну пришлось по душе мрачная солдатская прямота полковника.

– Что ж, – сказал он с улыбкой, – я, разумеется, не имею права называть вам имя этого человека или делиться подробностями истории его жизни. Но не вижу причин, мешающих рассказать о фактах этого дела, которые мне удалось установить.

С неожиданным проворством он вскочил на барьер и уселся рядом с полковником, болтая короткими ножками, как мальчишка, взобравшийся на забор. И начал рассказывать свою историю с такой легкостью, словно делился ею со старым другом, сидя перед камином в канун Рождества.

– Понимаете, полковник, – сказал он, – я оказался в небольшой комнатухе, где делал необходимые мне записи, когда услышал из коридора звук ног, танцевавших не менее странный танец, чем сам танец смерти. Сначала это были забавные легкие и поспешные шажки, словно человек крался на цыпочках с определенной целью. А затем они перешли в медленную, грузную походку солидного человека, курящего дорогую сигару. Но оба звука производила одна и та же пара ног, в этом я готов был поклясться, и происходило постоянное чередование. Быстрая, чуть слышная ходьба, похожая на бег, потом размеренные шаги, а потом снова бег, и так много раз. Сначала из чистого любопытства, а потом уже действительно озадаченный я стал размышлять, для чего человеку понадобилось играть две разные роли поочередно. Одна походка была мне хорошо знакома. Так ходите, например, вы сами, полковник. Прогуливающийся шаг состоятельного джентльмена, который чего-то дожидается, расхаживающего просто активности ради, а не в нетерпеливой тревоге. И вторая походка мне тоже прежде встречалась, но я никак не мог вспомнить, где именно. Какое живое существо встречалось на моем жиз-

ненном пути, столь торопливо пробежавшее на цыпочках, что это звучало более чем странно? А потом откуда-то донеслось звяканье посуды, и ответ встал передо мной так же непоколебимо, как стоит собор Святого Петра. Это походка официанта, когда человек идет быстро, чуть наклонившись вперед, устремив глаза вниз, ступая всей тяжестью на большие пальцы ног, фалды фрака развеваются, трепещут салфетки на подносе. Затем я потратил на раздумья еще ровно полторы минуты и понял, как совершается преступление, будто совершал его сам.

Полковник Паунд с жадным интересом смотрел на него, но добрые серые глаза рассказчика были уставлены в потолок с каким-то смутным томлением.

– Преступление, – медленно продолжал он, – подобно любому другому произведению искусства. Не надо так удивляться! Преступления далеко не единственные художественные произведения, которые изготавливаются в мастерской дьявола. Но любое произведение искусства, божественное или демоническое, несет на себе одну неприменную отметину. А именно: его смысл в сущности прост, какими бы сложностями не сопровождался акт творчества, есть единственный центр повествования. Возьмем, к примеру, историю Гамлета. Гротескная фигура могильщика, цветы сошедшей с ума девушки, лицемерные уловки Озрика, бледность призрака и оскал черепа в улыбке – все эти запутанные детали так или иначе завязаны вокруг одной трагической фигуры человека в черном. Могу теперь утверждать, – продолжал он, сползая со стойки, – что и сегодняшняя трагедия стала трагедией человека в черном. Да, так и есть, – поспешно добавил он, заметив удивление в глазах полковника, – центром всей истории стал черный костюм. В данном случае, как и в «Гамлете», сюжет украшен замысловатыми завитушками. К их числу, между прочим, относитесь и вы сами. Перед вами появляется мертвый официант, который никак не мог появиться. Невидимая рука сметает со стола ваше серебро и растворяется в воздухе. Но каждое умное преступление в конечном счете основано на единственном и очень простом действии, в котором нет уже ничего таинственного или мистического. Мистификация нужна лишь для сокрытия преступления, для того, чтобы отвлечь от него внимание и мысли людей. Данное тонкое, но крупное и (в привычном смысле слова) выгодное для грабителя преступление основывалось на том простом факте, что вечерний костюм джентльмена практически неотличим от костюма официанта. Все остальное – чисто актерская игра, пусть и очень хорошая.

– И все равно, – признался полковник, тоже вставая и разглядывая носы своих ботинок, – не уверен, что понял все.

– Суть в том, полковник, – сказал отец Браун, – что архангел дерзости, укравший ваше серебро, прошел по этому коридору двадцать раз при ярком свете ламп и на глазах у всех. Он не тайлся в темных углах, где вызывал бы неизбежные подозрения. Напротив, он постоянно перемещался по освещенному коридору, и в какой бы его части ни оказался, создавалось впечатление, что он находится там с полным на то основанием. А потому не спрашивайте меня, как он выглядел, поскольку вы сами видели его этим вечером шесть или семь раз. Вы вместе с остальными членами вашей великосветской компании собрались в одном конце коридора перед входом на террасу. И когда он проходил мимо вас, джентльмены, он делал это в торопливом стиле официанта: голова наклонена, через руку салфетка, быстрая и легкая поступь. Он вбегал на террасу, расправлял, допустим, складку на скатерти, а потом устремлялся назад в помещение для прислуги. Но к моменту, когда он оказывался на глазах распорядителя и других официантов, он превращался в совершенно иного человека, меняясь в каждом дюйме своего облика, в каждом вроде бы инстинктивном жесте. Он расхаживал среди obsługi с рассеянной наглостью, которую официанты так привыкли наблюдать в манерах своих богатых клиентов. Их не удивляло, что один из гостей желает пройтись по всему отелю, словно зверь по своему вольеру в зоопарке. Они привыкли, что одна из ярчайших примет принадлежности к привилегированному классу состоит в привычке разгуливать где заблагорассудится. И когда ему надоедало величественное шествие по той части коридора, он разворачивался и устремлялся в

противоположный его конец, причем где-то как раз рядом с гардеробной он магическим образом менял облик и спешил оказаться среди двенадцати рыбаков в качестве угодливого слуги. С какой стати джентльменам обращать внимание на одного из официантов? И почему официанты должны относиться подозрительно к солидному джентльмену с величавой походкой и светскими манерами? Пару раз он даже решился на весьма рискованные трюки. Вошел в личный кабинет хозяина и небрежно попросил у распорядителя сифон с содовой водой – якобы ему захотелось пить. Причем добродушно согласился сам отнести его к столу, что и сделал. Уже под видом официанта пронес сифон на террасу мимо всех вас. А что? Официант выполняет обычное для себя поручение, только и всего. Разумеется, это не могло длиться вечно, но ему и нужно было всего лишь дождаться подачи рыбного блюда.

Отец Браун сделал паузу, чтобы перевести дух.

– Самым опасным моментом стало для него построение официантов вдоль стены, когда на террасу входили гости, но и тогда он ухитрился расположиться у самого угла таким образом, что в это важнейшее из мгновений официанты приняли его за одного из гостей, а гости за одного из официантов. Затем все пошло как по маслу. Если официант заставал его вдали от стола, то видел перед собой гордого аристократа. Ему нужно было уложиться ровно в две минуты, прежде чем реальный официант явился бы, что убрать со стола пустые рыбные тарелки, а потому он превратился в очень проворного слугу, чтобы успеть убрать их раньше. Тарелки он поставил на стойку, а серебро рассовал по карманам под фраком, от чего тот стал странным образом топорщиться на нем, а потом бросился бегом (я расслышал и это), пока не нашел гардеробную. Здесь ему снова пришлось разыграть из себя плутократа, которого срочно вызвали по делам. Ему оставалось только протянуть гардеробщику бумажку-номерок и изящной походкой покинуть отель, как он в него и вошел. Но вот беда – на месте гардеробщика оказался я.

– Как же вы с ним поступили? – воскликнул полковник с необычным напряжением в голосе. – И что он вам успел рассказать?

– Прошу прощения, – сказал священник невозмутимо, – но на этом моя история заканчивается.

– Но начинается самое интересное, – пробормотал Паунд. – Думаю, я понял его профессиональный трюк. Но для меня остался непостижимым ваш.

– Мне пора идти, – сказал отец Браун.

Они вместе добрались до входа на террасу, где увидели ясноглазое веснушчатое лицо герцога Честерского, шедшего с радостной улыбкой им навстречу.

– Идемте, Паунд! – воскликнул он. – Я повсюду разыскивал вас. Ужин продолжается с прежним блеском. Одли готовится произнести спич в ознаменование чудесного спасения серебряных приборов. Мы хотим создать новую традицию, знаете ли, каждый год празднуя такое выдающееся событие. Мы ведь вернули наше сокровище, что скажете?

– Скажу, – ответил полковник, глядя на юнца с несколько сардонической усмешкой, – что сам готов ввести новую традицию. Предлагаю отныне являться к обеду не в черных фраках, а в зеленых. Кто знает, какие еще недоразумения могут возникнуть, когда ты выглядишь так похоже на официанта.

– Да бросьте! – легкомысленно отмахнулся молодой человек. – Джентльмена никто и никогда не примет за официанта.

– Как и официанта за джентльмена, я полагаю, – добавил полковник с тем же саркастическим выражением на лице. – Вашему другу, святой отец, должно быть, нелегко далась роль джентльмена?

Отец Браун застегнул пуговицы на своем простеньком пальто до самой шеи, поскольку гроза на улице все-таки разыгралась, и вынул из стойки старый зонт.

– Верно, – сказал он, – это, вероятно, очень трудно – официанту изобразить из себя джентльмена. Но, чтобы вы знали, еще труднее джентльмену изобразить официанта. Вам так не кажется?

Отец Браун попрощался и вышел через громоздкие двери этого дворца наслаждений. Золотые ворота закрылись за его спиной, и он быстрыми шагами поспешил по мокрому тротуару в поисках остановки однопенсового омнибуса.

Летучие звезды

Пер. И. Бернштейн

«Мое самое красивое преступление, – любил рассказывать Фламбо в годы своей добродетельной старости, – было, по странному стечению обстоятельств, и моим последним преступлением. Я совершил его на Рождество. Как настоящий артист своего дела, я всегда старался, чтобы преступление гармонировало с определенным временем года или с пейзажем, и подыскивал для него, словно для скульптурной группы, подходящий сад или обрыв. Так, например, английских сквайров уместнее всего надувать в длинных комнатах, где стены обшиты дубовыми панелями, а богатых евреев, наоборот, лучше оставлять без гроша среди огней и пышных драпировок кафе «Риц». Если, например, в Англии у меня возникало желание избавить настоятеля собора от бремени земного имущества (что гораздо труднее, чем кажется), мне хотелось видеть свою жертву обрамленной, если можно так сказать, зелеными газонами и серыми колокольнями старинного городка. Точно так же во Франции, изымая некоторую сумму у богатого и жадного крестьянина (что почти невозможно), я испытывал удовлетворение, если видел его негодующую физиономию на фоне серого ряда аккуратно подстриженных тополей или величавых галльских равнин, которые так прекрасно живописал великий Милле¹³.

Так вот, моим последним преступлением было рождественское преступление, веселое, уютное английское преступление среднего достатка – преступление в духе Чарльза Диккенса¹⁴. Я совершил его в одном хорошем старинном доме близ Путни¹⁵, в доме с полукруглым подъездом для экипажей, в доме с конюшней, в доме с названием, которое значилось на обоих воротах, в доме с неизменной араукарией... Впрочем, довольно, – вы уже представляете себе, что это был за дом. Ей-богу, я тогда очень смело и вполне литературно воспроизвел диккенсовский стиль. Даже жалко, что в тот самый вечер я раскаялся и решил покончить с прежней жизнью».

И Фламбо начинал рассказывать всю эту историю изнутри, с точки зрения одного из героев; но даже с этой точки зрения она казалась по меньшей мере странной. С точки же зрения стороннего наблюдателя история эта представлялась просто непостижимой, а именно с этой точки зрения и должен ознакомиться с нею читатель.

Это произошло на второй день Рождества. Началом всех событий можно считать тот момент, когда двери дома отворились и молоденькая девушка с куском хлеба в руках вышла в сад, где росла араукария, покормить птиц. У девушки было хорошенькое личико и решительные карие глаза; о фигуре ее судить мы не можем – с ног до головы она была так укутана в коричневый мех, что трудно было сказать, где кончается лохматый воротник и начинаются пушистые волосы. Если б не милое личико, ее можно было бы принять за неуклюжего медвежонка.

Освещение зимнего дня приобретало все более красноватый оттенок по мере того, как близился вечер, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, вернее, галерея из сплетающихся вверху лавровых деревьев, которая уводила в большой сад за домом. Юная девушка накрошила птицам хлеб (в четвертый или пятый раз за день, потому что его съедала собака) и, чтобы не мешать птичьему пиршеству, пошла по лавровой аллее в сад, где мерцали листья вечнозеленых деревьев. Здесь она вскрикнула от изумления – искреннего или притвор-

¹³ Милле Жан Франсуа (1814–1875) – французский живописец, член «Братства прерафаэлитов». – *Здесь и далее примеч. пер.*

¹⁴ ...в духе Чарльза Диккенса. – Речь идет о «Рождественских рассказах» Ч. Диккенса (1812–1871).

¹⁵ Путни – южный пригород Лондона.

ного, неизвестно, – ибо, подняв глаза, увидела, что на высоком заборе, словно наездник на коне, в фантастической позе сидит фантастическая фигура.

– Ой, только не прыгайте, мистер Крук! – воскликнула девушка в тревоге. – Здесь очень высоко.

Человек, оседлавший забор, точно крылатого коня, был долговязым, угловатым юношей с темными волосами, с лицом умным и интеллигентным, но совсем не по-английски бледным, даже бескровным. Бледность эту особенно подчеркивал красный галстук вызывающе яркого оттенка – единственная явно обдуманная деталь его костюма. Он не внял мольбе девушки и, рискуя переломать себе ноги, прыгнул на землю с легкостью кузнечика.

– По-моему, судьбе угодно было, чтобы я стал вором и лазил в чужие дома и сады, – спокойно объявил он, очутившись рядом с нею. – И так бы, без сомнения, и случилось, не родился я в этом милом доме по соседству с вами. Впрочем, ничего дурного я в этом не вижу.

– Как вы можете так говорить? – с укором воскликнула девушка.

– Понимаете ли, если родился не по ту сторону забора, где тебе требуется, по-моему, ты вправе через него перелезть.

– Вот уж никогда не знаешь, что вы сейчас скажете или сделаете.

– Я и сам частенько не знаю, – ответил мистер Крук. – Во всяком случае, сейчас я как раз по ту сторону забора, где мне и следует быть.

– А по какую сторону забора вам следует быть? – с улыбкой спросила юная девица.

– По ту, где вы, – ответил молодой человек.

И они пошли назад по лавровой аллее. Вдруг трижды протрубил, приближаясь, автомобильный гудок: элегантный автомобиль светло-зеленого цвета, словно птица, подлетел к подъезду и, весь трепеща, остановился.

– Ого, – сказал молодой человек в красном галстуке, – вот уж кто родился с той стороны, где следует. Я не знал, мисс Адамс, что у вашей семьи столь новомодный Дед Мороз.

– Это мой крестный отец, сэра Леопольд Фишер. Он всегда приезжает к нам на Рождество.

И после невольной паузы, выдававшей недостаток воодушевления, Руби Адамс добавила:

– Он очень добрый.

Журналист Джон Крук был наслышан о крупном дельце из Сити, сэре Леопольде Фишере, и если крупный делец не был наслышан о Джоне Круке, то уж, во всяком случае, не по вине последнего, ибо тот неоднократно и весьма непримиримо отзывался о сэре Леопольде на страницах «Призыва» и «Нового века». Впрочем, сейчас мистер Крук не говорил ни слова и с мрачным видом наблюдал за разгрузкой автомобиля, – а это была длительная процедура. Сначала открылась передняя дверца, и из машины вылез высокий элегантный шофер в зеленом, затем открылась задняя дверца, и из машины вылез низенький элегантный слуга в сером, затем они вдвоем извлекли сэра Леопольда и, взгромоздив на крыльцо, стали распаковывать его, словно ценный, тщательно увязанный узел. Под пледами, столь многочисленными, что их хватило бы на целый магазин, под шкурами всех лесных зверей и шарфами всех цветов радуги обнаружилось наконец нечто, напоминающее человеческую фигуру, нечто, оказавшееся довольно приветливым, хотя и смахивающим на иностранца, старым джентльменом с седой козлиной бородкой и сияющей улыбкой, который стал потирать руки в огромных меховых рукавицах.

Но еще задолго до конца этой процедуры двери дома отворились и на крыльцо вышел полковник Адамс (отец молодой леди в шубке), чтобы встретить и ввести в дом почетного гостя. Это был высокий, смуглый и очень молчаливый человек в красном колпаке, напоминающем феску и придававшим ему сходство с английским сардаром или египетским пашой. Вместе с ним вышел его шурин, молодой фермер, недавно приехавший из Канады, – крепкий и шумливый мужчина со светлой бородкой, по имени Джеймс Блаунт. Их обоих сопровождала еще одна весьма скромная личность – католический священник из соседнего прихода. Покой-

ная жена полковника была католичкой, и дети, как принято в таких случаях, воспитывались в католичестве. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилия у него была заурядная – Браун. Однако полковник находил его общество приятным и часто приглашал к себе.

В просторном холле было довольно места даже для сэра Леопольда и его многочисленных оболочек. Холл этот, непомерно большой для такого дома, представлял собой огромное помещение, в одном конце которого находилась наружная дверь с крыльцом, а в другом – лестница на второй этаж. Здесь, перед камином с висящей над ним шпагой полковника, процедура раздевания нового гостя была завершена, и все присутствующие, в том числе и мрачный Крук, были представлены сэру Леопольду Фишеру. Однако почтенный финансист все еще продолжал сражаться со своим безукоризненно сшитым одеянием. Он долго рылся во внутреннем кармане фрака и наконец, весь светясь от удовольствия, извлек оттуда черный овальный футляр, заключавший, как он пояснил, рождественский подарок для его крестницы. С нескрываемым и потому обезоруживающим тщеславием он высоко поднял футляр, так, чтобы все могли его видеть, затем слегка нажал пружину – крышка откинулась, и все замерли, ослепленные: фонтан кристаллизованного света вдруг забил у них перед глазами. На оранжевом бархате, в углублении, словно три яйца в гнезде, лежали три чистых сверкающих бриллианта, и казалось, даже воздух загорелся от их огня. Фишер стоял, расплывшись в благожелательной улыбке, упиваясь изумлением и восторгом девушки, сдержанным восхищением и немногословной благодарностью полковника, удивленными возгласами остальных.

– Пока что я положу их обратно, милочка, – сказал Фишер, засовывая футляр в задний карман своего фрака. – Мне пришлось вести себя очень осторожно, когда я ехал сюда. Имейте в виду, что это – три знаменитых африканских бриллианта, которые называются «летучими звездами», потому что их уже неоднократно похищали. Все крупные преступники охотятся за ними, но и простые люди на улице и в гостинице, разумеется, рады были бы заполучить их. У меня могли украсть бриллианты по дороге сюда. Это было вполне возможно.

– Я бы сказал, вполне естественно, – сердито заметил молодой человек в красном галстуке. – И я бы никого не стал винить в этом. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, я думаю, они имеют право сами взять себе этот камень.

– Не смейте так говорить! – с непонятной запальчивостью воскликнула девушка. – Вы говорите так только с тех пор, как стали этим ужасным... ну, как это называется? Как называют человека, который готов обниматься с трубочистом?

– Святым, – сказал отец Браун.

– Я полагаю, – возразил сэр Леопольд со снисходительной усмешкой, – что Руби имеет в виду социалистов.

– Радикал – это не тот, кто извлекает корни, – заметил Крук с некоторым раздражением, – а консерватор вовсе не консервирует фрукты. Смею вас уверить, что и социалисты совершенно не жаждут якшаться с трубочистами. Социалист – это человек, который хочет, чтобы все трубы были прочищены и чтобы всем трубочистам платили за работу.

– Но который считает, – тихо добавил священник, – что ваша собственная сажа вам не принадлежит.

Крук взглянул на него с интересом и даже с уважением.

– Кому может понадобиться собственная сажа? – спросил он.

– Кое-кому, может, и понадобится, – ответил Браун серьезно. – Говорят, например, что ею пользуются садовники. А сам я однажды на Рождество доставил немало радости шестерым ребятишкам, которые ожидали Деда Мороза, исключительно с помощью сажи, примененной как наружное средство.

– Ах, как интересно! – вскричала Руби. – Вот бы вы повторили это сегодня для нас!

Энергичный канадец мистер Блаунт возвысил свой и без того громкий голос, присоединяясь к предложению племянницы; удивленный финансист тоже возвысил голос, выражая

решительное неодобрение, но в это время кто-то постучал в парадную дверь. Священник распахнул ее, и глазам присутствующих вновь представился сад с араукарией и вечнозелеными деревьями, теперь уже темнеющими на фоне великолепного фиолетового заката. Этот вид, как бы вставленный в раму раскрытой двери, был настолько красив и необычен, что казался театральной декорацией. Несколько мгновений никто не обращал внимания на человека, остановившегося на пороге. Это был, видимо, обыкновенный посыльный в запыленном поношенном пальто.

– Кто из вас мистер Блаунт, джентльмены? – спросил он, протягивая письмо. Мистер Блаунт вздрогнул и осекся, не окончив своего одобрительного возгласа. С недоуменным выражением он надорвал конверт и стал читать письмо; при этом лицо его сначала омрачилось, затем просветлело, и он повернулся к своему зятю и хозяину.

– Мне очень неприятно причинять вам столько беспокойства, полковник, – начал он с веселой церемонностью Нового Света, – но не злоупотреблю ли я вашим гостеприимством, если вечером ко мне зайдет сюда по делу один мой старый приятель? Впрочем, вы, наверно, слышали о нем – это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад на Дальнем Западе (он по рождению канадец). А теперь у него ко мне какое-то дело, хотя убей не знаю какое.

– Полноте, полноте, дорогой мой, – любезно ответил полковник. – Вы можете приглашать кого угодно. К тому же он, без сомнения, будет как раз кстати.

– Он вымажет себе лицо сажей, если вы это имеете в виду, – смеясь, воскликнул Блаунт, – и всем наставит фонарей под глазами. Я лично не возражаю, я человек простой и люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на свой цилиндр.

– Только не на мой, пожалуйста, – с достоинством произнес сэр Леопольд Фишер.

– Ну ладно, ладно, – весело вступился Крук, – не будем ссориться. Человек на цилиндре – это еще не самая низкопробная шутка!

Неприязнь к молодому человеку в красном галстуке, вызванная его грабительскими убеждениями и его очевидным ухаживанием за хорошенькой крестницей Фишера, побудила последнего заметить саркастически повелительным тоном:

– Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки. Не приведете ли вы нам в пример хоть одну?

– Извольте: цилиндр на человеке, – отвечал социалист.

– Ну, ну, ну! – воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. – Не надо портить праздник. Давайте-ка повеселим сегодня общество. Не будем мазать лица сажей и садиться на шляпы, если вам это не по душе, но придумаем что-нибудь в том же роде. Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму – с клоуном, Коломбиной и всем прочим? Я видел такое представление перед отъездом из Англии, когда мне было лет двенадцать, и у меня осталось о нем воспоминание яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играют. Ставят одни только плаксивые волшебные сказки. Я хочу видеть хорошую потасовку, раскаленную кочергу, полисмена, которого разделявают на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду. Синяя Борода – это по мне, да и тот нравится мне больше всего в виде Панталоне.

– Я всей душой поддерживаю предложение разделить полисмена на котлеты, – сказал Джон Крук, – это гораздо более удачное определение социализма, чем то, которое здесь недавно приводилось. Но спектакль – дело, конечно, слишком сложное.

– Да что вы! – с увлечением закричал на него мистер Блаунт. – Устроить арлекинаду? Ничего нет проще! Во-первых, можно нести любую отсебятину, а во-вторых, на реквизит и декорации сгодится всякая домашняя утварь – столы, вешалки, бельевые корзины и так далее.

– Да, это верно. – Крук оживился и стал расхаживать по комнате. – Только вот боюсь, что мне не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уж не убивал я полисмена.

Блаунт на мгновение задумался и вдруг хлопнул себя по ляжке.

– Достанем! – воскликнул он. – Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена.

И он кинулся к телефону.

– Ах, как чудесно, крестный, – Руби была готова заплакать от радости, – я буду Коломбиной, а вы – Панталоне.

Миллионер выпрямился и замер в величественной позе языческого божества.

– Я полагаю, моя милая, – сухо проговорил он, – что вам лучше поискать кого-нибудь другого для роли Панталоне.

– Я могу быть Панталоне, если хочешь, – в первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару.

– Вам за это нужно памятник поставить, – воскликнул канадец, с сияющим лицом вернувшийся от телефона. – Ну вот, значит, все устроено. Мистер Крук будет клоуном – он журналист и, следовательно, знает все устаревшие шутки. Я могу быть Арлекином – для этого нужны только длинные ноги и умение прыгать. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет по дороге костюм полисмена и переоденется. Представление можно устроить здесь, в этом холле, а публику мы посадим на ступеньки лестницы. Входные двери будут задником; если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома, а открыть – освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству.

И, выхватив из кармана кусок мела, унесенного из бильярдной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену.

Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление – остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое возникает, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, затея становилась все безумнее при всей буржуазной благонравности ее происхождения. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и покрасили щеки румянами, тоже позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего (как и подобает истинному благодетелю-христианину) остаться неизвестным. Арлекина, уже нарядившегося в костюм из серебряной бумаги, извлеченной из сигарных ящичков, с большим трудом удалось остановить в тот момент, когда он собирался разбить старинную хрустальную люстру, чтобы украсить ее сверкающими подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, украшавшие когда-то на маскараде костюм бубновой дамы. Кстати сказать, ее дядюшка Джеймс Блаунт до того разошелся, что с ним никакого сладу не было; он вел себя как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и к тому же изобрел какой-то способ шевелить ее ушами. Блаунт сделал также попытку прицепить ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера, но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно.

– Дядя Джеймс слишком уж развеселился, – сказала Руби, с серьезным видом вешая Круку на шею гирлянду сосисок. – Что это он?

– Он Арлекин, а вы Коломбина, – ответил Крук. – Ну а я только клоун, который повторяет устаревшие шутки.

– Лучше бы вы были Арлекином, – сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее.

Хотя отцу Брауну, успевшему уже вызвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца, было отлично известно все происходившее за кулисами, он тем не менее

присоединился к зрителям и уселся среди них с выражением торжественного оживления на лице, словно ребенок, впервые попавший в театр.

Зрителей было немного – родственники, кое-кто из соседей и слуги. Сэр Леопольд занял лучшее место, и его массивная фигура почти совсем загородила сцену от маленького священника, сидевшего позади него; но много ли при этом потерял священник, театральная критика не знает. Пантомима являла собой нечто совершенно хаотическое, но все-таки она была не лишена известной прелести, – ее оживляла и пронизывала искрометная импровизация клоуна Крука. В обычных условиях Крук был просто умным человеком, но в тот вечер он чувствовал себя всеведущим и всемогущим – неразумное чувство, мудрое чувство, которое приходит к молодому человеку, когда он на какой-то миг уловит на некоем лице некое выражение. Считалось, что он исполняет роль клоуна; на самом деле он был еще автором (насколько тут вообще мог быть автор), суфлером, декоратором, рабочим сцены и в довершение всего оркестром. Во время коротких перерывов в этом безумном представлении он в своих клоунских доспехах кидался к роялю и барабанил на нем отрывки из популярных песенок, настолько же неуместных, насколько и подходящих к случаю.

Кульминационным пунктом спектакля, а также и всех событий, было мгновение, когда двери на заднем плане сцены вдруг распахнулись и зрителям открылся сад, залитый лунным светом, на фоне которого отчетливо вырисовывалась фигура знаменитого Флориана. Клоун забарабанил хор полицейских из оперетты «Пираты из Пензанса»¹⁶, но звуки рояля потонули в оглушительной овации: великий комик удивительно точно и почти совсем естественно воспроизводил жесты и осанку полисмена. Арлекин подпрыгнул к нему и ударил его по каске, пианист заиграл «Где ты раздобыл такую шляпу?» – а он только озирался вокруг, с потрясающим мастерством изображая изумление; Арлекин подпрыгнул еще и опять ударил его; а пианист сыграл несколько тактов из песенки «А затем еще разок...». Потом Арлекин бросился прямо в объятия полисмена и под грохот аплодисментов повалил его на пол. Тогда-то французский комик и показал свой знаменитый номер «Мертвец на полу», память о котором и по сей день живет в окрестностях Путни. Невозможно было поверить, что это живой человек. Здоровяк Арлекин раскачивал его, как мешок, из стороны в сторону, подбрасывал и крутил, как резиновую дубинку, – и все это под уморительные звуки дурацких песенок в исполнении Крука. Когда Арлекин с натугой оторвал от пола тело комика-констебля, шут за роялем заиграл «Я восстал ото сна, мне снилася ты», когда он взвалил его себе на спину, послышалось «С котомкой за плечами», а когда, наконец, Арлекин с весьма убедительным стуком опустил свою ношу на пол, пианист, вне себя от восторга, заиграл бойкий мотивчик на такие – как полагают по сей день – слова: «Письмо я милой написал и бросил по дороге».

Приблизительно в то же время – в момент, когда безумство на импровизированной сцене достигло апогея, – отец Браун совсем перестал видеть актеров, ибо прямо перед ним почтенный магнат из Сити встал во весь рост и принялся ошалело шарить у себя по карманам. Потом он в волнении уселся, все еще роясь в карманах, потом опять встал и вознамерился было перешагнуть через рампу на сцену, однако ограничился тем, что бросил свирепый взгляд на клоуна за роялем и, не говоря ни слова, пулей вылетел из зала.

В течение нескольких последующих минут священник имел полную возможность следить за дикой, но не лишенной известного изящества пляской любителя-Арлекина над артистически бесчувственным телом его врага. С подлинным, хотя и грубоватым искусством Арлекин танцевал теперь в распахнутых дверях, потом стал уходить все дальше и дальше в глубь сада, наполненного тишиной и лунным светом. Его наскоро склеенное из бумаги одеяние,

¹⁶ «Пираты из Пензанса» – популярная оперетта английского композитора Артура Сеймора Салливана (1842–1900), поставленная в 1879 году по либретто У. С. Гилберта (1836–1911).

слишком уж сверкающее в огнях рампы, становилось волшебнo-серебристым по мере того, как он удалялся, танцуя в лунном сиянии.

Зрители с громом аплодисментов повскакали с мест и бросились к сцене, но в это время отец Браун почувствовал, что кто-то тронул его за рукав и шепотом попросил пройти в кабинет полковника.

Он последовал за слугой со все возрастающим чувством беспокойства, которое отнюдь не уменьшилось при виде торжественно-комической сцены, представившейся ему, когда он вошел в кабинет. Полковник Адамс, все еще наряженный в костюм Панталоне, сидел, понуро кивая рогом китового уса, и в старых его глазах была печаль, которая могла бы отрезвить вакханалию. Опершись о камин и тяжело дыша, стоял сэр Леопольд Фишер; вид у него был перепуганный и важный.

– Произошла очень неприятная история, отец Браун, – сказал Адамс. – Дело в том, что бриллианты, которые мы сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. А так как вы...

– А так как я, – продолжил отец Браун, простодушно улыбнувшись, – сидел позади него...

– Ничего подобного, – с нажимом сказал полковник Адамс, в упор глядя на Фишера, из чего можно было заключить, что нечто подобное уже было высказано. – Я только прошу вас как джентльмена оказать нам помощь.

– То есть вывернуть свои карманы, – закончил отец Браун и поспешил это сделать, вытащив на свет Божий семь шиллингов шесть пенсов, обратный билет в Лондон, маленькое серебряное распятие, маленький трепник и плитку шоколада.

Полковник некоторое время молча глядел на него, а затем сказал:

– Признаться, содержимое вашей головы интересует меня гораздо больше, чем содержимое ваших карманов. Ведь моя дочь – ваша воспитанница. Так вот, в последнее время она... – Он не договорил.

– В последнее время, – выкрикнул почтенный Фишер, – она открыла двери отцовского дома головорезу-социалисту, и этот малый открыто заявляет, что всегда готов обокрасть богатого человека. Вот к чему это привело. Перед вами богатый человек, которого обокрали!

– Если вас интересует содержимое моей головы, то я могу вас с ним познакомить, – бесстрастно сказал отец Браун. – Чего оно стоит, судите сами. Вот что я нахожу в этом старейшем из моих карманов: люди, намеревающиеся украсть бриллианты, не провозглашают социалистических идей. Скорее уж, – добавил он кротко, – они станут осуждать социализм.

Оба его собеседника быстро переглянулись, а священник продолжал:

– Видите ли, мы знаем этих людей. Социалист, о котором идет речь, так же не способен украсть бриллианты, как и египетскую пирамиду. Нам сейчас следует заняться другим человеком, тем, который нам незнаком. Тем, кто играет полисмена. Хотелось бы мне знать, где именно он находится в данную минуту.

Панталоне вскочил с места и большими шагами вышел из комнаты. Вслед за этим последовала интерлюдия, во время которой миллионер смотрел на священника, а священник смотрел в свой трепник. Панталоне вернулся и отрывисто сказал:

– Полисмен все еще лежит на сцене. Занавес поднимали шесть раз, а он все еще лежит.

Отец Браун выронил книгу, встал и остолбенел, глядя перед собой, словно пораженный внезапным умственным расстройством. Но мало-помалу его серые глаза оживились, и тогда он спросил, казалось бы, без всякой связи с происходящим:

– Простите, полковник, когда умерла ваша жена?

– Жена? – удивленно переспросил старый воин. – Два месяца назад. Ее брат Джеймс опоздал как раз на неделю и уже не застал ее.

Маленький священник подпрыгнул, как подстреленный кролик.

– Живее! – воскликнул он с необычной для себя горячностью. – Живее! Нужно взглянуть на полисмена!

Они нырнули под занавес, чуть не сбив с ног Коломбину и клоуна (которые мирно шептались в полутьме), и отец Браун нагнулся над распростертым комиком-полисменом.

– Хлороформ, – сказал он, выпрямляясь. – И как я раньше не догадался!

Все молчали в недоумении. Потом полковник медленно произнес:

– Пожалуйста, объясните толком, что все это значит?

Отец Браун вдруг громко расхохотался, потом сдержался и проговорил, задыхаясь и с трудом подавляя приступы смеха:

– Джентльмены, сейчас не до разговоров. Мне нужно догнать преступника. Но этот великий французский актер, который играл полисмена, этот гениальный мертвец, с которым вальсировал Арлекин, которого он подбрасывал и швырял во все стороны, – это... – Он не договорил и заторопился прочь.

– Это – кто? – крикнул ему вдогонку Фишер.

– Настоящий полисмен, – ответил отец Браун и скрылся в темноте.

В дальнем конце сада сверкающие листвою купы лавровых и других вечнозеленых деревьев даже в эту зимнюю ночь создавали на фоне сапфирового неба и серебряной луны впечатление южного пейзажа. Ярко-зеленые колышущиеся лавры, глубокая, отливающая пурпуром синева небес, луна, как огромный волшебный кристалл, – все было исполнено легкомысленной романтики. А вверху, по веткам деревьев, карабкалась какая-то странная фигура, имеющая вид не столько романтический, сколько неправдоподобный. Человек этот весь искрился, как будто облаченный в костюм из десяти миллионов лун; при каждом его движении свет настоящей луны загорался на нем новыми вспышками голубого пламени. Но, сверкающий и дерзкий, он ловко перебирался с маленького деревца в этом саду на высокое развесистое дерево в соседнем и задержался там только потому, что чья-то тень скользнула в это время под маленькое дерево и чей-то голос окликнул его снизу.

– Ну что ж, Фламбо, – произнес голос, – вы действительно похожи на летучую звезду, но ведь звезда летучая в конце концов всегда становится звездой падучей.

Наверху, в ветвях лавра, искрящаяся серебром фигура наклоняется вперед и, чувствуя себя в безопасности, прислушивается к словам маленького человека.

– Это самая виртуозная из всех ваших проделок, Фламбо. Приехать из Канады (с билетом из Парижа, надо полагать) через неделю после смерти миссис Адамс, когда никто не расположен задавать вопросы, – ничего не скажешь, ловко придумано. Еще того ловчей вы сумели выследить «летучие звезды» и разведать день приезда Фишера. Но в том, что за этим последовало, чувствуется уже не ловкость, а подлинный гений. Выкрасть камни для вас, конечно, не составляло труда. При вашей ловкости рук вы могли бы и не привешивать ослиный хвост к фалдам фишеровского фрака. Но в остальном вы затмили самого себя.

Серебристая фигура в зеленой листве медлит, точно загипнотизированная, хотя путь к бегству открыт; человек на дереве внимательно смотрит на человека внизу.

– Да-да, – говорит человек внизу, – я знаю все. Я знаю, что вы не просто навязали всем эту пантомиму, но сумели извлечь из нее двойную пользу. Сначала вы собирались украсть эти камни без лишнего шума, но тут один из сообщников известил вас о том, что вас выследили и опытный сыщик должен сегодня застать вас на месте преступления. Заурядный вор сказал бы спасибо за предупреждение и скрылся. Но вы – поэт. Вам тотчас же пришла в голову остроумная мысль спрятать бриллианты среди блеска бутафорских драгоценностей. И вы решили, что если на вас будет настоящий наряд Арлекина, то появление полисмена покажется вполне естественным. Достойный сыщик вышел из полицейского участка в Путни, намереваясь поймать вас, и сам угодил в ловушку, хитрее которой еще никто не придумывал. Когда отворились двери дома, он вошел и попал прямо на сцену, где разыгрывалась рождественская пантомима

и где пляшущий Арлекин мог его толкать, колотить ногами, кулаками и дубинкой, оглушить и усыпить под дружный хохот самых респектабельных жителей Путни. Да, лучше этого вам никогда ничего не придумать. А сейчас, кстати говоря, вы можете отдать мне эти бриллианты.

Зеленая ветка, на которой покачивается сверкающая фигура, шелестит, словно от изумления, но голос продолжает:

– Я хочу, чтобы вы их отдали, Фламбо, и я хочу, чтобы вы покончили с такой жизнью. У вас еще есть молодость, и честь, и юмор, но при вашей профессии их не останется. Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет под гору. Добрый человек пьет и становится жестоким; правдивый человек убивает и потом должен лгать. Много я знавал людей, которые начинали, как вы, благородными разбойниками, веселыми грабителями богатых и кончали в мерзости и грязи. Морис Блюм начинал как анархист по убеждению, отец бедняков, а кончил грязным шпионом и доносчиком, которого обе стороны эксплуатировали и презирали. Гарри Бэрк, организатор движения «Деньги для всех», был искренне увлечен своей идеей, – теперь он живет на содержании полуголодной сестры и пропивает ее последние гроши. Лорд Эмбер первоначально очутился на дне в роли странствующего рыцаря, теперь же самые подлые лондонские подонки шантажируют его, и он им платит. А капитан Барийон, некогда знаменитый джентльмен-апаш, умер в сумасшедшем доме, помешавшись от страха перед сыщиками и скупщиками краденого, которые его предали и затравили.

Я знаю, у вас за спиной вольный лес, и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезьяна. Но когда-нибудь вы станете старой седой обезьяной¹⁷, Фламбо. Вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод, и смерть ваша будет близко, и верхушки деревьев будут совсем голыми.

Наверху было по-прежнему тихо; казалось, маленький человек под деревом держит своего собеседника на длинной невидимой привязи. И он продолжал:

– Вы уже сделали первые шаги под гору. Раньше вы хвастались, что никогда не поступите низко, но сегодня вы совершили низкий поступок. Из-за вас подозрение пало на честного юношу, против которого и без того восстановлены все эти люди. Вы разлучаете его с девушкой, которую он любит и которая любит его. Но вы еще не такие низости совершите, прежде чем умрете.

Три сверкающих бриллианта упали с дерева на землю. Маленький человек нагнулся, чтобы подобрать их, а когда он снова глянул вверх – зеленая древесная клетка была пуста: серебряная птица упорхнула.

Бурным ликованием было встречено известие о том, что бриллианты случайно подобраны в саду. И подумать, что на них наткнулся отец Браун. А сэр Леопольд с высоты своего благоволения даже сказал священнику, что хотя сам он и придерживается более широких взглядов, но готов уважать тех, кому убеждения предписывают затворничество и неведение дел мирских.

¹⁷ Нравственная проповедь отца Брауна – полемика Честертона с циничной проповедью героя «Портрета Дориана Грея» (1891) лорда Генри: «Но когда вы станете безобразным стариком...» – *Примеч. пер.*

Невидимка

Пер. М. Клеветенко

В прохладных синих сумерках кондитерская на углу двух крутых улочек в Кэмден-таун светилась, словно кончик сигары или фейерверк, ибо разноцветные огни, дробясь в зеркалах, весело плясали на причудливо украшенных тортах и сладостях в золотистых обертках. Витрину облепили мальчишки-разносчики; красные, золотые и зеленые фантики манили их едва ли не больше, чем сами конфеты, а белые свадебные торты высились неприступные и желанные, как Северный полюс. Это радужное великолепие собрало всю окрестную детвору в возрасте от десяти до двенадцати лет. Впрочем, перед сиянием витрины не устоял и кое-кто постарше. Рыжий молодой человек лет двадцати четырех мялся тут же, и хотя в кондитерскую его влекли иные чары, от конфеты и он бы не отказался.

Молодой человек отличался высоким ростом, крепким телосложением, решительным лицом и неторопливостью движений. Под мышкой он сжимал серую папку с рисунками, которые иногда успешно, иногда не очень продавал в газеты с тех самых пор, как дядя-адмирал лишил его наследства за социалистические взгляды, выслушав тираду, в которой юноша обличал именно эту экономическую теорию. Звали его Джон Тернбулл Энгус.

Войдя наконец в кондитерскую, юноша направился в заднюю часть помещения, в кафетерий. Там он слегка приподнял шляпу и поприветствовал официантку, быстроглазую и смуглую девушку в черном, с румянцем во всю щеку. Спустя положенное время она подошла принять заказ.

Заказ этот, очевидно, повторялся изо дня в день.

– Принесите мне, – произнес юноша громко, – булочку за полпенни и маленькую чашку черного кофе. – Не успела девушка отвернуться, как он добавил: – И выходите за меня замуж.

– Я таких шуток не одобряю! – возмутилась юная леди.

Рыжеволосый юноша взглянул на нее с неожиданной серьезностью:

– Поверьте, я не шучу. Я серьезен, как эта булочка. Она дается не даром – за нее приходится платить. Не говоря уже о том, что от нее портится пищеварение.

Смуглая юная леди всматривалась в юношу с какой-то почти трагической зоркостью. Наконец тень улыбки промелькнула по ее лицу, и она уселась напротив.

– Не кажется ли вам, – рассеянно заметил Энгус, – что поедать булочки за полпенни жестоко? Подумать только, ведь они могли бы дорасти до пенни! Когда мы поженимся, обещаю бросить эту отвратительную привычку.

Смуглая девушка встала и подошла к окну. Что-то тяготило ее, но не молодой воздыхатель был причиной ее тревоги. Когда она наконец решительным движением отвернулась от окна, то с изумлением увидела, как он аккуратно расставляет на столе сласти: пирамиду конфет в ярких обертках, тарелки с бутербродами, два графина с портвейном и хересом, незамеченных в кондитерском деле, а посередине красуется главное украшение витрины – огромный торт в белой глазури.

– Что вы задумали? – воскликнула девушка.

– То, что должно, дорогая Лаура, – начал Энгус.

– Постойте, – перебила она, – и, ради Бога, оставьте этот тон. Я спрашиваю, что все это значит?

– Свадебный пир, мисс Хоуп.

– А это? – Лаура нетерпеливо указала на сахарную гору.

– Свадебный торт, миссис Энгус.

Лаура решительно подошла к столу, подняла торт и с грохотом водрузила обратно на витрину. Вернувшись, она оперлась локотками о стол и смерила юношу довольно благосклонным, хотя и сердитым взглядом.

– Вы не дали мне времени на раздумья.

– Я же не глупец, – отозвался Энгус. – Так далеко мое христианское смирение не простирается.

Лаура смотрела на него, становясь все мрачнее.

– Мистер Энгус, – произнесла она твердо, – прежде чем вы продолжите делать глупости, я хочу кратко рассказать кое-что о себе.

– Весьма польщен, – серьезно ответил Энгус. – А заодно, если вас не затруднит, что-нибудь и обо мне.

– Дайте же сказать! Я не стыжусь и не испытываю особенных сожалений, но эта история не дает мне спокойно спать по ночам.

– В таком случае, – заявил молодой человек, – несите торт обратно.

– Сначала выслушайте, – настаивала Лаура. – Да будет вам известно, мой отец держал гостиницу «Алая рыба» в Ладбери, а я стояла за стойкой бара.

– А я-то гадаю, откуда в кондитерской так отчетливо веет христианским духом.

– Ладбери – сонная захолустная дыра в восточных графствах, а единственными постояльцами были мелкие коммивояжеры и бездельники самого отвратительного сорта, хотя едва ли вам такие встречались. У этих дрянных людишек хватало средств, чтобы вести праздную жизнь, пропустить стаканчик и поставить на бегах, а одевались они дурно, но с претензией на шик. Впрочем, захаживали они редко, зато те двое не вылезали из бара. Оба с деньгами, разодетые в пух и прах, оба раздражающе праздные.

Признаться, я их жалела, думая, что они выбрали наш убогий пустой бар из-за своих физических недостатков, недостатков того рода, над которыми так любит потешаться деревенщина. Назвать их уродствами язык не повернется, скорее это были странности. Один был до смешного мал ростом, как гном или, на худой конец, жокей. Впрочем, вид у него был совсем не жокейский: голова как шар, черные волосы, черная аккуратная бородка, живые птичьи глаза. Он звенел монетами в карманах, брэнчал золотой цепочкой от часов и одевался слишком тщательно, чтобы сойти за джентльмена. Впрочем, этот коротышка обладал недюжинным, хотя и праздным умом и был мастак создавать разные забавные и бесполезные штуки. Показывал фокусы, заставлял пятнадцать сложенных спичек вспыхивать одна за другой, вырезал из бананов танцующих куколок. Звали его Исидор Смайт. Так и вижу, как он, сморщив смуглое темное личико, мастерит из пяти сигар фигурку кенгуру в прыжке.

Другой был попроще и не так замечен, но почему-то внушал мне куда большее беспокойство, чем малютка Смайт. Высокий, стройный и светловолосый, нос с горбинкой. Он был по своему привлекателен и чем-то напоминал призрака, но обладал самым выдающимся косоглазием, какое только можно вообразить. Когда он смотрел на вас в упор, вы не находили себе места и никогда не знали, куда именно он смотрит. Думаю, физический недостаток ожесточил его сердце. И пока Смайт с удовольствием демонстрировал свои обезьяньи ужимки каждому встречному, Джеймс Уэлкин только и знал, что накачиваться в баре или бродить в одиночестве по серым пустошам. Наверняка Смайта тяготил его малый рост, но он справлялся не в пример лучше. И вообразите, как я удивилась и огорчилась, когда оба, с разницей в несколько дней, предложили мне руку и сердце.

Боюсь, я тогда сильно сглупила. Но, согласитесь, эти чудаки были в некотором роде моими приятелями. Мне не хотелось, чтобы они решили, будто я отказываю из-за их уродства. И я решила схитрить, заявив, что выйду замуж только за человека, который сам проторит себе дорогу в жизни. Таковы уж мои принципы: мне не по душе проживать деньги, унаследованные

мужем. Мои намерения были самые благородные, но спустя два дня все и началось. Эти двое отправились на поиски своего счастья, словно герои какой-то глупой сказки.

С тех пор я ни разу их не видела, хотя и получила два письма от малыша Смайта, причем весьма любопытных.

– А как же другой? – спросил Энгус.

– О нем ни слуху ни духу, – ответила Лаура с запинкой. – В первом письме Смайт написал, что они с Уэлкином отправились в Лондон пешком, но тот оказался шустрим ходок, и Смайту пришлось отстать. Его подобрало бродячее шоу, где, отчасти из-за гномьей внешности, отчасти из-за ловкости рук, он приобрел успех и теперь выступает в «Аквариуме», исполняет какие-то трюки. Второе письмо, которое я получила на прошлой неделе, оказалось еще занятнее.

Молодой человек по имени Энгус опустошил кофейную чашку и кротко и терпеливо посмотрел на Лауру. Она невесело усмехнулась и продолжила:

– Видели рекламу «Бессловесная прислуга Смайта»? Если нет, вы последний на свете, кто ее не видел. Я не знаток, но это какие-то заводные механизмы. «Нажми на кнопку – вот он, дворецкий, который в рот не берет спиртного!» «Поверни ручку – и перед тобой десять горничных, не помышляющих о флирте!»

Как бы то ни было, но благодаря этим механизмам мой старый приятель, коротышка из Ладбери, гребет деньги лопатой. Не скрою, меня радует его успех, но одновременно охватывает ужас при мысли, что он может в любую минуту возникнуть на пороге и заявить, что проторил себе путь в жизни, и мне будет нечего возразить.

– А как же другой? – повторил Энгус настойчиво.

Внезапно Лаура Хоуп вскочила на ноги.

– Друг мой, похоже, вы видите меня насквозь! Вы совершенно правы. От второго я не получила ни строчки и понятия не имею, где он и что с ним, но именно он – причина моего страха. Он меня преследует и сводит с ума! Или уже свел: я ощущаю его присутствие, слышу голос, хотя его нет рядом!

– Успокойтесь, моя дорогая, – мягко промолвил Энгус, – будь он хоть сам черт, теперь он нам не страшен, раз вы о нем рассказали. Милая Лаура, с ума сходят в одиночку. А когда именно вам померещился этот косоглазый приятель?

– Я слышала смех Джеймса Уэлкина так же отчетливо, как слышу сейчас ваш голос, – уверенно заявила Лаура. – Вокруг никого не было, я стояла на углу возле кондитерской и видела одновременно обе улочки. Я успела забыть, как он смеется, хотя его смех врезается в память не меньше косоглазия. Целый год я и не думала об Уэлкине. Но клянусь, что за несколько минут до этого происшествия я получила письмо от его соперника.

– Вы заставили призрак заговорить, вскрикнуть или что-то в этом роде? – с интересом спросил Энгус.

Лаура вздрогнула, но совладала с собой и твердо ответила:

– Да. Когда я прочла письмо Исидора Смайта, в котором он сообщал о своем успехе, я отчетливо услышала, как Уэлкин промолвил: «Он тебя не получит». Как будто стоял рядом! Это ужасно, наверное, я сошла с ума.

– Если бы вы сошли с ума, – заметил молодой человек, – вы продолжали бы считать себя нормальной. Признаться, в истории с невидимым джентльменом и впрямь есть что-то загадочное. Однако две головы лучше, чем одна, – не буду утомлять вас перечислением других частей тела и с вашего позволения, как человек практичный и приземленный, верну торт на стол...

Не успел он договорить, как с улицы донесся металлический скрежет, и крошечный автомобиль на дьявольской скорости затормозил прямо перед дверью кондитерской. В то же мгновение человек в сияющем цилиндре показался на пороге, нетерпеливо пристукивая ногой.

До сих пор Энгус держался непринужденно, не желая расстраиваться раньше времени, но сейчас волнение прорвалось наружу. Он встал и шагнул навстречу незваному гостю. Одного взгляда хватило, чтобы оправдать худшие подозрения влюбленного. Элегантный наряд, телосложение гнома, дерзко торчащая борода, умные зоркие глаза, холеные нервные пальцы. Перед ним стоял не кто иной, как Исидор Смайт, некогда мастеривший кукол из банановых шкурок и спичечных коробков. Исидор Смайт, наживший миллионы на механических трезвенниках-дворецких и благонравных горничных из железа. В мгновение ока угадав конкурента, мужчины взглянули друг на друга с холодным снисхождением, которое как ничто другое выражает самый дух соперничества.

Однако мистер Смайт и виду не подал, только воскликнул:

– Мисс Хоуп видела витрину снаружи?

– Снаружи? – удивился Энгус.

– С остальным разберемся потом, – заявил крошка-миллионер. – Сперва займемся этим дурацким розыгрышем.

Элегантной тростью он ткнул в витрину, недавно опустошенную свадебными приготовлениями мистера Энгуса, который с изумлением заметил на ней длинную белую полосу. Ее определенно не было здесь раньше. Выйдя вслед за деятельным мистером Смайтом из кондитерской, он увидел, что кто-то аккуратно приклеил к стеклу не меньше полутора ярдов гербовой почтовой бумаги, на которой размашисто написал: «Если выйдете за Смайта, ему не жить».

– Лаура, – произнес Энгус, просунув рыжую голову в дверь кондитерской, – вы не сошли с ума.

– Это написал Уэлкин, – мрачно сообщил Смайт. – Я не видел его несколько лет, но он никогда про меня не забывал. За последние две недели он пять раз подбрасывал в мою квартиру письма с угрозами, и я понятия не имею, кто их приносит, разве что сам Уэлкин. Консьерж божится, что не видел никого подозрительного, а теперь этот тип у всех на виду заклеил витрину кондитерской, а посетители преспокойно...

– Совершенно верно, – подхватил Энгус, – сидят и пьют чай. Я согласен с вами, сэр, нужно действовать без промедления. Об остальном после. Этот тип не мог уйти далеко. Клянусь, десять-пятнадцать минут назад никакой бумаги тут и в помине не было. С другой стороны, едва ли мы догоним его, к тому же нам неизвестно, в какую сторону он убежал. Мой вам совет, мистер Смайт: поручите это дело энергичному сыщику, и лучше частному. Я знаю на редкость толкового малого, до его конторы на вашем автомобиле рукой подать. Молодость Фламбо прошла бурно, но сейчас вы не найдете человека честнее, а голова у него просто золотая. Мой приятель живет в Хэмпстэде, в Лакнау-мэншнз.

– Странно, – заметил коротышка, подняв черные брови, – я живу за углом, в Гималаи-мэншнз. Не хотите поехать со мной? Я заскочу к себе, чтобы забрать эти дурацкие письма, а вы заглянете к своему приятелю-сыщику.

– Вы совершенно правы, – вежливо ответил Энгус. – Не будем терять времени.

Оба соперника в порыве учтивости церемонно поклонились даме и запрыгнули в крошечный автомобильчик. Не успели они завернуть за угол, как глазам Энгуса предстал громадный рекламный плакат с безголовой железной куклой, которая держала в руках кастрюлю. На плакате значилось: «Кухарка, которая никогда не злится».

– Я сам пользуюсь такими же, – смеясь, сказал чернобородый коротышка, – отчасти ради рекламы, отчасти ради удобства. Я не вру, эти заводные болваны принесут уголь для камина, бокал вина или расписание поездов куда шустрее, чем слуги из плоти и крови. Главное, нажать правильную кнопку. Впрочем, не стану утверждать, что у них нет недостатков.

– Неужели? – отозвался Энгус. – Есть что-то, чего они не умеют?

– Есть, – холодно отозвался Смайт, – они никогда не расскажут, кто подбросил письма.

Автомобиль коротышки был мал и стремителен, как и его хозяин. Неудивительно, ведь это Смайт его усовершенствовал. И как бы вы ни относились к рекламе заводных механизмов, их создатель не лукавил. Ощущение скорости и миниатюрности усилилось, пока они мчались по белой дороге, огибая повороты, в мертвенном, но ярком свете заходящего солнца. Вскоре повороты стали еще круче, они поднимались по спирали вознесения, как выражаются современные последователи теософии. И впрямь, соперников занесло в ту часть Лондона, которая крутизной улиц, а возможно, и живописностью не уступает Эдинбургу. Ряды многоквартирных домов вставали один над другим, а еще выше, в косых лучах солнца египетской пирамидой золотилась громада здания, к которому мчался автомобиль. Они завернули за угол, и внезапно, словно распахнулось окно, вид изменился: теперь дом возвышался над морем зеленой черепицы. Напротив, на другой стороне полумесяца, который представлял собой Гималаи-мэншнз, тянулась живая изгородь, больше похожая на оборонительный вал, чем на элемент садовой архитектуры. Ниже лежал искусственный водоем, своего рода канал или ров вокруг неприступной крепости. Автомобиль миновал лоток с каштанами, а на другом конце полумесяца Энгус успел заметить смутно синющую фигуру полицейского, который медленно прохаживался по тротуару. Лоточник и полицейский казались единственными человеческими существами на уединенной городской окраине. Энгуса посетило странное чувство, что эти двое олицетворяют собой безмолвную поэзию Лондона. Он представлял их персонажами рассказа.

Автомобильчик пулей подлетел к нужному дому, выбросив своего хозяина, словно отстрелянную гильзу. Смайт немедленно набросился на рослого швейцара в блестящих галунах и низенького привратника без пиджака. Оба заверили, что с тех пор как он спрашивал их в последний раз, мимо них и мышь не прошмыгнула. После чего Смайт и слегка озадаченный Энгус зашли в лифт и ракетой взмыли на верхний этаж.

– Зайдем на минуту ко мне, – предложил запыхавшийся Смайт. – Хочу показать вам письма. А после приведете своего приятеля.

Он нажал на невидимую кнопку в стене, и дверь сама собой отворилась. За ней оказалась просторная передняя, единственной характерной особенностью которой были ряды механических истуканов, которые высились с обеих сторон, словно портновские манекены. Как полагают манекенам, они были без головы, широкоплечи и выгибали грудь колесом, а в остальном не больше походили на людей, чем вокзальные торговые автоматы в человеческий рост. Вместо рук у манекенов торчали металлические крюки для подносов; чтобы различать фигуры между собой, их покрасили в бледно-зеленый, ярко-красный и черный цвета. В остальном они были обычными железками, второй раз не взглянешь. Особенно сейчас, когда между рядами лежало нечто поинтереснее – обрывок бумаги, чью белизну пятнали алые буквы. Проворный изобретатель вцепился в него, едва переступив порог. Затем передал Энгусу. Алые чернила еще не успели высохнуть.

«Если ты виделся с ней сегодня, я тебя убью».

Наступило короткое молчание, затем Исидор Смайт спокойно поинтересовался:

– Не хотите выпить? Кажется, мне нужен виски.

– Спасибо, но Фламбо вам сейчас нужнее, – хмуро ответил Энгус. – Кажется, дело принимает серьезный оборот. Я иду за ним немедленно.

– Вы правы, – согласился Смайт, демонстрируя великолепное присутствие духа. – Приведите его как можно скорее.

Закрывая дверь, Энгус успел заметить, как Смайт нажал на кнопку, и механическая фигура заскользила по желобу в полу, держа на подносе графин и сифон. Ему стало не по себе при мысли, что он оставляет коротышку в одиночестве среди неживых слуг, имеющих обыкновение воскресать, как только дверь закрывается.

Шестью ступенями ниже привратник без пиджака возился с ведром. Посулив щедрые чаевые, Энгус заставил его пообещать, что он с места не сдвинется, пока Энгус не вернется

вместе с сыщиком, и проследит за каждым, кто вздумает подняться по лестнице. Сойдя вниз, Энгус велел швейцару смотреть в оба. Тот сообщил, что в доме нет черного хода, что значительно упрощало дело. Не удовлетворившись этим, Энгус отловил неугомонного полицейского и убедил до своего возвращения постоять напротив входа. Наконец он подошел к лотку купить каштанов на полпенни и узнать, надолго ли продавец собирается тут задержаться.

Продавец каштанов, кутаясь в воротник, заявил, что уходит, скоро пойдет снег. И впрямь становилось все темнее и холоднее, но Энгус, применив все свое красноречие, убедил продавца повременить.

– Грейтесь у жаровни, – предложил он серьезно, – подкрепляйтесь каштанами. Съешьте хоть весь лоток, расходы за мой счет. Если дождетесь меня и расскажете обо всех мужчинах, женщинах или детях, что войдут в дом, где стоит швейцар, получите соверен.

Окинув последним взглядом осажденную крепость, Энгус резво заспешил прочь.

– Будем считать, дом обложен со всех сторон, – промолвил он. – Не могут же все четверо оказаться сообщниками мистера Уэлкина!

Лакнау-мэншнз лежал в предгорьях той горной системы, пиком которой были Гималаи-мэншнз. Контора мистера Фламбо располагалась на первом этаже и являла собой разительный контраст американской машинерии и холодному гостиничному лоску апартаментов «Бессловесной прислуги Смайта».

Фламбо принял своего друга Энгуса в артистическом будуаре, украшенном саблями, аркебузами, восточными диковинами, бутылками итальянского вина, древними глиняными котлами, пушистым персидским котом и невзрачным католическим священником, который смотрелся здесь особенно неуместно.

– Мой друг отец Браун, – представил его Фламбо. – Давно хотел вас познакомиться. Отличная погода, хотя и немного холодно для южанина вроде меня.

– Я думаю, скоро развиднеется, – заметил Энгус, присаживаясь на оттоманку в фиолетовую полосу.

– Нет, – кротко возразил священник, – снег уже пошел.

И впрямь на фоне темнеющего прямоугольника окна закружились первые снежинки, предсказанные продавцом каштанов.

– Я пришел по делу, – хмуро промолвил Энгус, – и оно не терпит отлагательства. Видите ли, Фламбо, один человек, ваш сосед, отчаянно нуждается в помощи. Его преследует враг, которого никто никогда не видел.

И Энгус пустился в обстоятельный рассказ о Смайте и Уэлкине, начал с истории Лауры, присовокупив собственные наблюдения. Рассказал о таинственном смехе на углу пустых улиц, о странных словах, прозвучавших в пустой комнате.

Фламбо с возрастающим волнением слушал рассказ приятеля, священник же, напротив, никак не обнаруживал своих чувств, держась словно бессловесный предмет мебели. Когда дошло до истории с таинственной надписью на витрине кондитерской, Фламбо вскочил, и его мощная широкоплечая фигура заполнила собой всю комнату.

– Если не возражаете, я предпочел бы дослушать на ходу. Нельзя терять времени.

– С удовольствием, – согласился Энгус, тоже вставая, – хотя пока Смайту ничего не угрожает. За единственным входом в его нору следят четверо.

Они вышли на улицу. Священник трусил сзади, словно преданная собачонка, и лишь раз дружелюбно заметил ради поддержания разговора:

– Только посмотрите, сколько снега намело!

Пока трое спускались по крутой боковой улочке, уже запорошенной белым, Энгус успел досказать историю, а оказавшись на месте, занялся часовыми. Продавец каштанов – и до того, как получил соверен, и после – клялся, что глаз не сводил с двери, но тщетно: ни одного посетителя. Полицейский был более красноречив, заявив, что на своем веку повидал жуликов всех

мастей, в цилиндрах и в рубище – ему ли не знать, что подозрительному типу необязательно выглядеть подозрительно, – однако, видит Бог, в эту дверь никто не входил. Наконец, когда трое мужчин подошли к дворецкому, все с той же дежурной улыбкой стоявшему у двери, тот развеял все сомнения.

– Моя обязанность – спрашивать любого, от герцога до мусорщика, куда он направляется, – заявил добродушный великан с золотыми галунами, – но с тех пор, как этот джентльмен ушел, спрашивать было некого.

Здесь застенчивый отец Браун, стоявший позади своих спутников, осмелился вступить в разговор, скромно заметив:

– Хотите сказать, никто не поднимался и не спускался по этим ступеням с тех пор, как пошел снег? Он начался, когда мы сидели у Фламбо.

– Никто, сэръ, уж я-то знаю, – важно ответил швейцар, излучая благодушную уверенность в себе.

– А это что? – спросил священник, безучастно, словно рыба, вытаращив глаза в землю под ногами.

Остальные проследили за его взглядом, а Фламбо выругался и с французской горячностью взмахнул рукой. Ибо прямо посередине лестницы, между вальяжно расставленных ног верзилы-швейцара на белом снегу темнела цепочка следов.

– Господи! – воскликнул Энгус. – Человек-невидимка!

Без лишних слов он бросился вверх по ступеням, Фламбо устремился вслед за ним. Отец Браун остался стоять на заснеженной улице, осматриваясь вокруг, словно потерял интерес к расследованию. Фламбо приготовился высадить дверь мощным плечом, но шотландец рассудил более здраво. Он принялся ощупывать дверную раму в поисках невидимой кнопки. Наконец дверь медленно отворилась.

Все те же механические болваны заполняли прихожую. Стало темнее, но с улицы внутрь проникли алые закатные блики. Некоторые манекены по тем или иным хозяйственным надобностям успели переместиться по прихожей и теперь торчали тут и там. В сумерках цвета стерлись, но странным образом благодаря бесформенности механических игрушек их сходство с человеческими фигурами усилилось. В самом центре – там, где раньше лежал клочок бумаги, – виднелось пятно, словно кто-то пролил красные чернила. Однако то были не чернила.

– Убийство! – воскликнул Фламбо, проявляя истинно французскую решимость и здравый смысл.

Не прошло и пяти минут, как он обшарил все углы и шкафы, но если Фламбо надеялся найти тело, то тщетно. Исидор Смайт, живой или мертвый, исчез. Наконец друзья, взмокнув от пота, снова сошлись в прихожей и уставились друг на друга, вытаращив глаза.

– Друг мой, – воскликнул Фламбо, от волнения переходя на французский, – ваш убийца не только невидим, но и ухитрился сделать невидимым труп!

Энгус оглядел темнеющую приемную, полную манекенов, и в глубине его кельтской души шевельнулся страх. Один из механических истуканов ростом с человека стоял над кровавым пятном, возможно, призванный хозяином непосредственно перед убийством. Один из крюков, заменявших истукану руку, был слегка приподнят, и Энгусу пришло в голову, что бедный Смайт был убит собственным стальным детищем. Материя восстала, машина уничтожила своего создателя. Но даже если так, куда делось тело?

«Сожрали?» – мелькнула кошмарная мысль, и Энгусу чуть не стало дурно при мысли о безголовых созданиях, поглощающих и перемалывающих человеческую плоть.

Он сделал над собой усилие и обратился к Фламбо:

– Итак, бедняга испарился словно облако, оставив на полу кровавое пятно. Не иначе мы имеем дело с потусторонним миром.

– Потусторонним или нет, – отозвался Фламбо, – нам остается только пойти вниз и обратиться к помощи моего друга.

Они миновали привратника с ведром, который снова побожился, что мимо него никто не проходил, швейцара и продавца каштанов, упрямо стоявших на своем. Оглядевшись в поисках четвертого наблюдателя, Энгус взволнованно спросил:

– А где полицейский?

– Прошу меня простить, – ответил отец Браун, – но я отправил его выяснить для меня кое-что важное.

– Чем скорее он вернется, тем лучше, – бросил Энгус, – потому что тот бедняга наверху не только убит, но и неведомым образом испарился.

– Испарился? – переспросил священник.

– Отец Браун, – неуверенно промолвил Фламбо, – ей-богу, это скорее по вашей части, чем по моей. Ни друг, ни враг не входил в эту дверь, но Смайт исчез, словно его похитили эльфы. Едва ли тут обошлось без вмешательства потусторонних...

Он не успел договорить, отвлекшись необычным зрелищем: рослый полицейский в синей форме вынырнул из-за угла, подбежал к отцу Брауну и выпалил:

– Вы были правы, сэр! Тело несчастного мистера Смайта только что выловили из канала.

Энгус схватился за голову:

– Он что, спустился на улицу и утопился?

– Клянусь, он не спускался, – ответил полицейский, – и не топился. Ему воткнули нож в сердце.

– И вы по-прежнему утверждаете, что в эту дверь никто не входил? – строго спросил Фламбо.

– Давайте пройдемся вперед, – предложил священник.

Когда они достигли другой стороны полумесяца, отец Браун воскликнул:

– Вот я глупец! Забыл спросить у полицейского, нашли ли они светло-коричневый мешок.

– Почему светло-коричневый? – удивился Энгус.

– Потому что, если мешок другого цвета, все придется начинать сначала, а если светло-коричневый, то делу конец.

– Рад это слышать, – заметил Энгус с изрядной долей иронии, – а я-то думал, что дело и не начиналось.

– Вы должны рассказать нам все, – промолвил Фламбо просто и серьезно, совсем по-детски.

Невольно ускоряя шаги, они спускались по длинной дуге полумесяца. Отец Браун шагал быстро, храня молчание. Наконец с трогательной застенчивостью он произнес:

– Боюсь, вы сочтете объяснение слишком скучным. Мы любим начинать с абстрактных рассуждений, и тут без них не обойтись. Задумывались вы когда-нибудь, что люди редко прямо отвечают на поставленный вопрос? Они с готовностью сообщат вам то, что, с их точки зрения, вы хотите услышать, а не то, о чем вы в действительности спрашивали. Представьте себе, что в загородном имении гостя спросит хозяйку, есть ли в доме кто-нибудь еще? Неважно, что в доме проживают дворецкий, трое лакеев и горничная, которая может находиться в той же комнате, а дворецкий стоять за креслом госпожи, хозяйка ответит, что, кроме гостя, в доме никого нет. Другое дело, если начнется эпидемия и подобный вопрос задаст доктор. Вот тогда дама вспомнит про дворецкого, горничную и прочую челядь. Это свойственно всем языкам: вы никогда не получите точного ответа, даже если полученный ответ совершенно правдив. Когда эти четверо, в чьей честности не приходится сомневаться, заявляют, что в дверь никто не входил, они имеют в виду – никто из тех, кто вам нужен. А между тем один человек вошел в дверь и вышел из нее, только они его не заметили.

- Невидимка? – уточнил Энгус, приподняв рыжую бровь.
- В психологическом смысле да, – ответил отец Браун.

Спустя несколько минут он продолжил тем же бесстрастным тоном, словно рассуждал вслух:

– Вам не придет в голову вспомнить об этом человеке, пока вы о нем не задумаетесь. На этом строился весь его расчет. Меня натолкнули на эту мысль две-три детали, упомянутые мистером Энгусом. Способность Уэлкина быстро передвигаться пешком. Изрядный размер полоски почтовой бумаги на стекле. Но более всего два эпизода в рассказе девушки, которые никак не могли быть правдой. Не обижайтесь, – быстро добавил священник, заметив, что шотландец замотал рыжей головой, – она не сомневалась в собственной правоте. Нельзя находиться на улице в полном одиночестве за секунду до получения письма. Нельзя в одиночестве вскрыть только что полученное письмо. Кто-то должен стоять рядом, кто-то психологически невидимый.

– Почему вы знаете? – поинтересовался Энгус.

– Но ведь не почтовый голубь принес ей письмо?

– Вы хотите сказать, что Уэлкин сам доставлял девушке письма соперника? – живо спросил Фламбо.

– Да, – ответил отец Браун. – Уэлкин доставлял ей письма соперника. Ему пришлось.

– Хватит! – вспыхнул Фламбо. – Говорите, кто этот тип? Как он выглядит? Во что одеваются невидимки?

– В красно-синее с золотом, – последовал точный ответ, – и в таком ярком, вызывающе ярком наряде на глазах у четверых невидимка вошел в дом, хладнокровно расправился со Смайтом и вышел, неся в руках мертвое тело...

– Достопочтенный сэръ! – вскипел Энгус. – Кто из нас двоих сошел с ума?

– Вы не безумны, всего лишь недостаточно наблюдательны.

Отец Браун сделал три быстрых шага вперед и опустил руку на плечо самому обычному почтальону, который проходил мимо в тени деревьев.

– Почему-то никто не замечает почтальонов, – задумчиво промолвил отец Браун, – хотя их обуревают те же страсти, что и прочих людей. А еще они носят большие мешки, в которых легко спрятать маленькое тело.

Вместо того чтобы спокойно обернуться, почтальон отпрянул и налетел на изгородь. Худощавый, светлородый мужчина самой непримечательной наружности, но, когда он испуганно взглянул на них через плечо, всех троих поразило его невероятное косоглазие.

Фламбо вернулся к своим саблям, пурпурным коврам и персидскому коту – ему было чем заняться. Джон Тернбулл Энгус отправился к юной леди из кондитерской, чье общество имел дерзость находить приятным, а отец Браун еще много часов прогуливался с убийцей по заснеженным холмам под звездами, но о чем они беседовали, никому знать не дано.

Честь Изрэела Гау

Пер. Н. Трауберг

Оливково-серебристые сумерки сменялись ненастной тьмой, когда отец Браун, укутавшись в серый шотландский плед, дошел до конца серой шотландской долины и увидел причудливый замок. Обиталище графов Гленгайл срезало край лощины или ущелья, образуя тупик, похожий на край света. Как многие замки, воплотившие вкус французов или шотландцев, он был увенчан зелеными крышами и шпилями, напоминавшими англичанину об остроконечных колпаках ведьм; сосновые же леса казались рядом с ним черными, как стаи воронов, летавших над башнями. Однако не только пейзаж внушал ощущение призрачной, словно сон, чертовщины, – это место и впрямь окутали тучи гордыни, безумия и скорби, которые душат знатных сынов Шотландии чаще, чем прочих людей. Ведь в крови у шотландца двойная доза яда, называемого наследственностью, – он верит в свою родовитость, как аристократ, и в предопределенность посмертной участи, как кальвинист.

Священник с трудом вырвался на сутки из Глазго, где был по делу, чтобы повидать друга своего Фламбо, сыщика-любителя, который вместе с сыщиком-профессионалом расследовал в Гленгайле обстоятельства жизни и смерти последнего из владельцев замка. Таинственным графом кончался род, сумевший выделиться отвагой, жестокостью и сумасбродством даже среди мрачной шотландской знати XVI века. Никто не забрел дальше, чем Гленгайлы, в тот лабиринт честолюбия, в те анфилады лжи, которые возвели вокруг Марии, королевы шотландцев.

Причину и плод их стараний хорошо выражал стишок, сложенный в округе:

Копит, копит смолоду
Наш помещик золото.

За много веков в замке не было ни одного достойного графа. Когда наступила викторианская эра, казалось, что странности их исчерпаны. Однако последний в роду поддержал семейную традицию, сделав единственное, что ему осталось: он исчез. Не уехал, а именно исчез, ибо, судя по всему, был в замке. Но хотя имя значилось в церковных книгах и в книге пэров, никто на свете не видел его самого.

Если кто его и видел, то лишь угрюмый слуга, соединявший обязанности садовника и кучера. Слуга этот был таким глухим, что деловые люди считали его немым, а люди вдумчивые – слабоумным. Бессловесный рыжий крестьянин с упрямым подбородком и ярко-черными глазами звался Изрэелом Гау и, казалось, жил один в пустынном поместье. Но рвение, с которым он копал картошку, и точность, с какою он скрывался в кухне, наводили на мысль о том, что он служит хозяину. Если нужны были другие доказательства, всякий мог считать ими то, что спрашивающим графа слуга отвечал: «Нету дома». Однажды в замок позвали мэра и пастора (Гленгайлы принадлежали к пресвитерианской церкви), и те обнаружили, что садовник, кучер и повар стал еще и душеприказчиком и заколотил в гроб своего высокородного хозяина.

Что было немедленно вслед за этим, никто толком не знал, ибо никто узнать не пытался, пока на север, дня через два-три, не прибыл Фламбо. К этому времени тело графа Гленгайла (если то было его тело) покоилось на маленьком кладбище, у вершины холма.

Когда отец Браун прошел сумрачным садом в самую тень замка, тучи сгустились и в воздухе пахло грозой. На фоне последней полоски золотисто-зеленого неба он увидел черный силуэт – человека в цилиндре, с большой лопатой на плече. Такое нелепое сочетание напоминало о могильщике; но отец Браун припомнил глухого слугу, копающего картошку, и не удивился. Он неплохо знал шотландских крестьян; он знал, что по своей респектабельности они способны надеть сюртук и шляпу для официальных гостей; он знал, что по своей бережливо-

сти они не потеряют даром и часа. Даже то, как пристально глядел слуга на проходящего священника, прекрасно увязывалось с их недоверчивостью и обостренным чувством долга.

Парадную дверь открыл сам Фламбо, рядом с которым стоял высокий седой человек, инспектор Крэвен из Скотланд-Ярда. В зале почти не было мебели, но с темных холстов из-под темных париков насмешливо глядели бледные и коварные Гленгайлы.

Проследовав в комнаты, отец Браун увидел, что официальные лица сидят за дубовым столом. Тот конец, где они сгрудились, был сплошную покрыт бумагами, сигарами и бутылками виски; дальше, во всю длину, на равном расстоянии, красовались исключительно странные предметы: кучка осколков, кучка какой-то темной пыли, деревянная палка и что-то еще.

– У вас тут прямо геологический музей, – сказал отец Браун, усаживаясь на свое место.

– Не столько геологический, сколько психологический, – отвечал Фламбо.

– Ради Бога, – воскликнул сыщик, – не надо этих длинных слов!

– Вы не жалуете психологии? – удивился Фламбо. – Напрасно. Она нам понадобится.

– Не совсем понимаю, – сказал инспектор.

– О лорде Гленгайле, – объяснил француз, – мы знаем только одно: он был маньяк.

Мимо окна, черным силуэтом на лиловых тучах, прошел человек с лопатой и в цилиндре.

Отец Браун рассеянно поглядел на него и сказал:

– Конечно, он был со странностями, иначе он не похоронил бы себя заживо и не велел бы похоронить так быстро после смерти. Однако почему вам кажется, что он сумасшедший?

– Послушайте, что нашел в этом доме мистер Крэвен, – ответил Фламбо.

– Надо бы мне свечу, – сказал Крэвен. – Темнеет, трудно читать.

– А свечек вы не нашли? – улыбнулся отец Браун.

Фламбо серьезно посмотрел на своего друга.

– Как ни странно, – сказал он, – здесь двадцать пять свечей и ни одного подсвечника.

Темнело быстро, и быстро поднимался ветер. Священник встал и направился вдоль стола туда, где лежали свечи. Проходя, он наклонился к бурой пыли – и сильно чихнул.

– Да это нюхательный табак! – воскликнул он.

Потом он взял свечу, бережно зажег ее, вернулся и вставил в бутылку из-под виски. Пламя затрепетало на сквозняке, как флажок. На много миль кругом шумели черные сосны, словно море било о скалу замка.

– Читаю опись, – серьезно сказал Крэвен и взял одну из бумаг. – Поясню вначале, что почти все комнаты были заброшены, кто-то жил только в двух. Обитатель этот, несомненно, не слуга по фамилии Гау. В этих комнатах мы нашли странные вещи, а именно:

1. Довольно много драгоценных камней, главным образом – бриллиантов, без какой бы то ни было оправы. Неудивительно, что у Гленгайлов были драгоценности; но камни обычно оправляют в золото или серебро. В этой семье их, по-видимому, носили в карманах, как мелочь.

2. Много нюхательного табака – не в табакерках и даже не в мешочках, а прямо на столе, на рояле и на буфете, словно хозяину было лень сунуть руку в карман или поднять крышку.

3. Маленькие кучки железных пружинков и колесиков, словно здесь разобрали несколько механических игрушек.

4. Восковые свечи, которые приходится вставлять в бутылки, потому что вставлять их не во что.

Прошу вас, господа, обратите внимание на то, что ничего подобного мы не ожидали. Основная загадка была нам известна. Мы знали, что с покойным графом не все ладно, и явились, чтобы установить, жил ли он здесь, и умер ли, и как связано со всем этим рыжее пугало, похоронившее его. Предположим самое дикое и театральное. Быть может, слуга убил его, или он вообще жив, или слуга – это он, а настоящий Гау – в могиле. Вообразим любой наворот событий в духе Уилки Коллинза, и мы все равно не сможем объяснить, почему свечи – без

подсвечников и почему старый аристократ брал понюшку прямо с рояля. Словом, суть дела представить себе можно; детали нельзя. Человеческому уму не под силу связать табак, бриллианты, свечи и разобранный механизм.

– Почему же? – сказал священник. – Извините, я свяжу их. Граф Гленгайл помешался на французской революции. Он был предан монархии и пытался восстановить в своем замке быт последних Бурбонов. В восемнадцатом веке нюхали табак, освещали комнаты свечами. Людовик Шестнадцатый любил мастерить механизмы, бриллианты предназначались для ожерелья королевы.

Крэвен и Фламбо уставились на него круглыми глазами.

– Поразительно! – вскричал француз. – Неужели так оно и есть?

– Конечно, нет, – отвечал отец Браун. – Я просто показал вам, что можно связать воедино табак, бриллианты, свечи и разобранный механизм. На самом деле все сложнее.

Он замолчал и прислушался к громкому шуму сосен; потом произнес:

– Граф Гленгайл жил двойной жизнью, он был вором. Свечи он вставлял в потайной фонарь, табак швырял в глаза тем, кто его застанет, – вы знаете, французские воры швыряют перец. А главная улика – алмазы и колесики. Ведь только ими можно вырезать стекло.

Обломанная ветка сосны тяжело ударилась о стекло за их спинами, словно изображая вора в зловещем фарсе, но никто на нее не глядел. Все глядели на священника.

– Бриллианты и колесики, – медленно проговорил Крэвен. – Из-за них вы и пришли к такому объяснению?

– Я к нему не пришел, – мягко ответил священник, – но вы сказали, что никак нельзя объединить вот эти вещи. На самом деле, конечно, все гораздо проще. Гленгайл нашел клад на своей земле – драгоценные камни. Колесиками он шлифовал их или гранил, не знаю. Ему приходилось работать быстро, и он пригласил себе в подмогу здешних пастухов. Табак – единственная роскошь бедного шотландца, больше его ничем не подкупишь. Подсвечники им были не нужны, они держали свечи в руке, когда искали в переходах, под замком, нет ли там еще камней.

– И это все? – не сразу спросил Фламбо. – Это и есть простая, скучная истина?

– О нет! – отвечал отец Браун.

Ветер взвыл на прощание в дальнем бору, словно насмехаясь над ними, и замолк. Отец Браун продолжал задумчиво и спокойно:

– Я говорю все это лишь потому, что вы считаете невозможным связать табак с бриллиантами или свечи с колесиками. Десять ложных учений подойдут к миру; десять ложных теорий подойдут к тайне замка, но нам нужно одно, истинное объяснение. Нет ли там чего-нибудь еще?

Крэвен засмеялся, Фламбо улыбнулся, встал и пошел вдоль стола.

– Пункты пять, шесть и семь, – сказал он, – совершенно бессмысленны. Вот стержни от карандашей. Вот бамбуковая палка с раздвоенным концом. Может быть, ими и совершили преступление – но какое? Преступления нет. И загадочных предметов больше нет, кроме молитвенника и нескольких миниатюр, которые хранятся здесь со Средних веков, – по-видимому, фамильная спесь у графов сильнее пуританства. Мы приобщили эти вещи к делу лишь потому, что они как-то странно попорчены.

Буря за окном пригнала к замку валы темных туч, и в длинной комнате было совсем темно, когда отец Браун взял в руки молитвенник. Тьма еще не ушла, когда он заговорил, но голос его изменился.

– Мистер Крэвен, – сказал он так звонко, словно помолодел на десять лет, – вы ведь имеете право осмотреть могилу? Пospешим, надо скорей разгадать это страшное дело. Я бы сейчас и пошел на вашем месте!

– Почему? – удивленно спросил сыщик.

– Потому что оно серьезней, чем я думал, – ответил священник. – Табак и камни могут быть здесь по сотне причин. Но этому есть только одна причина. Смотрите, молитвенник и миниатюры не портили, как мог бы испортить пуританин. Из них осторожно вынули слово «Бог» и сияние над головой Младенца Христа. Так что берите свою бумагу и идем осмотрим могилу. Вскроем гроб.

– О чем вы говорите? – спросил инспектор.

– Я говорю о том, – отвечал священник, перекрывая голосом рев бури, – что сам Сатана, быть может, сидит сейчас на башне замка и ревет, как сто слонов. Мы столкнулись с черной магией.

– Черная магия, – тихо повторил Фламбо, слишком образованный, чтобы в нее не верить. – А что же тогда означает все остальное?

– Какую-нибудь мерзость, – нетерпеливо отвечал Браун. – Откуда мне знать? Может быть, табак и бамбук нужны для какой-то пытки. Может быть, безумцы едят воск и стальные колесики. Может быть, из графита делают гнусный наркотик. Проще всего решить загадку там, на кладбище.

Собеседники едва ли поняли его, но послушались и шли, пока вечерний ветер не ударил им в лицо. Однако слушались и шли они, как автоматы. Крэвен держал в правой руке топорик, а левой рукой ощупывал в кармане нужную бумагу. Фламбо схватил по пути заступ. Отец Браун взял маленькую книгу, из которой вынули имя Божье.

На кладбище вела извилистая короткая тропинка; однако в такой ветер она казалась крутой и длинной. Путников встречали все новые сосны, клонившиеся в одну и ту же сторону, и поклон их казался бессмысленным, словно это происходило на необитаемой планете. Серовато-синий лес оглашала пронзительная песнь ветра, исполненная языческой печали. В шуме ветвей слышались стоны погибших божеств, которые давно заблудились в этом бессмысленном лесу и никак не найдут пути на небо.

– Понимаете, – тихо, но спокойно сказал отец Браун, – шотландцы до Шотландии были занятыми людьми. Собственно, они и сейчас заняты. Но до начала истории они, наверное, и впрямь поклонялись бесам. Потому, – незлобиво прибавил он, – они приняли так быстро пуританскую теологию.

– Друг мой, – воскликнул Фламбо, гневно обернувшись к нему, – что за чушь вы городите?

– Друг мой, – все так же серьезно отвечал отец Браун, – у настоящих религий есть одна неременная черта: вещественность, весомость. Сами видите, беспоклонство – настоящая религия.

Они взобрались на растрепанную макушку холма, одну из немногих лужаек среди ревающего леса. Проволока на деревянных кольях пела под ветром, оповещая пришельцев о том, где проходит граница кладбища. Инспектор Крэвен быстро подбежал к могиле; Фламбо вонзил в землю заступ и оперся на него, хотя ветер качал и тряс обоих сыщиков, как сотрясал он проволоку и сосны. В ногах могилы рос серебряно-сизый репейник. Когда ветер срывал с него колючий шарик, Крэвен отскакивал, словно то была пуля.

Фламбо вонзил заступ в свистящую траву и дальше, в мокрую землю. Потом остановился, облокотясь на него, как на посох.

– Ну, что же вы? – мягко сказал священник. – Мы хотим узнать истину. Чего вы боитесь?

– Я боюсь ее узнать, – ответил Фламбо.

Лондонский сыщик произнес высоким, надсадным голосом, который ему самому казался бодрим:

– Нет, почему он так прятался? Что за пакость? Может, он прокаженный?

– Думаю, что-нибудь похуже, – сказал Фламбо.

– Что же хуже проказы? – спросил сыщик.

– Представить себе не могу, – ответил Фламбо.

Ветер унес тяжелые серые тучи, обложившие холмы, словно дым, и открыл взору серые долины, освещенные слабым звездным светом, когда Фламбо обнажил наконец крышку грубого гроба и пообчистил ее от земли.

Крэвен шагнул вперед, держа топорик, коснулся репейника и вздрогнул. Но он не отступил и трудился с такой же силой, как Фламбо, пока не сорвал крышку и не сказал:

– Да, это человек, – словно ожидал чего-то иного.

– У него все в порядке? – нервным голосом спросил Фламбо.

– Вроде бы да, – хрипло ответил сыщик. – Нет, постойте...

Тяжкое тело Фламбо грузно содрогнулось.

– Ну, что с ним может быть? – вскричал он. – Что с нами такое? Что творится с людьми на этих холодных холмах? Наверное, это потому, что все тут темное и все как-то глупо повторяется. Леса и древний ужас перед тайной, словно сон атеиста... Сосны, и снова сосны, и миллионы сосен...

– О Господи! – крикнул Крэвен. – У него нет головы.

Фламбо не двинулся, но священник впервые шагнул к могиле.

– Нет головы! – повторил он. – Нет *головы*? – словно он думал, что нет чего-то другого.

Полубезумные образы пронеслись в сознании собравшихся. У Гленгайлов родился безголовый младенец; безголовый юноша прячется в замке; безголовый старик бродит по древним залам или по пышному парку. Но даже теперь они не принимали разгадки, ибо в ней не было смысла, и стояли, внимая гулу лесов и воплю небес, словно истуканы или загнанные звери. Мыслить они не могли; мысль была для них велика, и они ее упустили.

– У этой могилы, – сказал отец Браун, – стоят три безголовых человека.

Бледный сыщик из Лондона открыл было рот и не закрыл его, словно деревенский дурачок. Воющий ветер терзал небо. Сыщик взглянул на топорик, его не узнавая, и уронил на землю.

– Отец, – сказал Фламбо каким-то детским, горестным голосом, – что нам теперь делать?

Друг его ответил так быстро, словно выстрелил из ружья.

– Спать! – крикнул он. – Спать. Мы пришли к концу всех дорог. Вы знаете, что такое сон? Вы знаете, что спящий доверяется Богу? Сон – таинство, ибо он питает нас и выражает нашу веру. А нам сейчас нужно таинство, хотя бы естественное. На нас свалилось то, что нечасто сваливается на человека; быть может, самое худшее, что может на него свалиться.

Крэвен разжал сомкнувшиеся губы и спросил:

– Что вы имеете в виду?

Священник повернулся к замку и сказал:

– Мы нашли истину, и в истине нет смысла.

А потом пошел по дорожке тем беззаботным шагом, каким ходил очень редко, и, придя в замок, кинулся в сон с простотою пса.

Несмотря на славословие сну, встал он раньше всех, кроме бессловесного садовника, и сыщики застали его в огороде, где он курил трубку и смотрел, как трудится над грядками этот загадочный субъект. Под утро гроза сменилась ливнем, и день выдался прохладный. По-видимому, садовник только что беседовал с пастырем, но, завидев сыщиков, угрюмо воткнул лопату в землю, проворчал что-то про завтрак и скрылся в кухне, прошествовав мимо рядов капусты.

– Почтенный человек, – сказал отец Браун. – Прекрасно растит картошку. Однако, – беспристрастно и милостиво прибавил он, – и у него есть недостатки, у кого их нет? Эта грядка не совсем прямая. Вот, смотрите. – И он тронул землю ногой. – Какая странная картошка!

– А что в ней такого? – спросил Крэвен, которого забавляло новое увлечение низкорослого клирика.

– Я отметил ее потому, – сказал священник, – что ее отметил и Гау. Он копал всюду, только не здесь.

Фламбо схватил лопату и нетерпеливо вонзил в загадочное место. Вместе с пластом земли на свет вылезло то, что напоминало не картофелину, а огромный гриб. Но лопата звякнула; а находка покатилась словно мяч.

– Граф Гленгайл, – печально сказал Браун и посмотрел на череп.

Он подумал минутку, взял у Фламбо лопату и со словами «Надо его закопать» это и сделал. Потом оперся на большую ручку большой головой и маленьким телом и уставился вдаль пустым взором, скорбно наморщив лоб.

– Ах, если б я мог понять, – пробормотал он, – что значит весь этот ужас!..

И, опираясь о ручку стоящей торчком лопаты, закрыл лицо руками, словно в церкви.

Все уголки неба светлели серебром и лазурью; птицы щебетали в деревьях так громко, словно сами деревца беседовали друг с другом. Но трое людей молчали.

– Ладно, – взорвался наконец Фламбо, – с меня хватит. Мой мозг и этот мир не в ладу, вот и все. Нюхательный табак, испорченные молитвенники, музыкальные шкатулки... Да что же это?..

Отец Браун откинул голову и с не свойственным ему нетерпением дернул рукоятку лопаты.

– Стоп, стоп, стоп! – закричал он. – Это все проще простого. Я понял табак и колесики, как только открыл глаза. А потом я поговорил с Гау, он не так глух и не так глуп, как притворяется. Там все в порядке, все хорошо. Но вот это... Осквернять могилы, таскать головы... вроде бы это плохо? Вроде бы тут не без черной магии? Никак не вяжется с простой историей о табаке и свечах. – И он задумчиво закурил.

– Друг мой, – с мрачной иронией сказал Фламбо, – будьте осторожны со мною. Не забывайте, недавно я был преступником. Преимущество – в том, что всю историю выдумывал я сам и разыгрывал как можно скорее. Для сыщика я нетерпелив. Я француз, и ожидание не по мне. Вся жизнь я, к добру ли, к худу ли, действовал сразу. Я дрался на дуэли на следующее утро, немедленно платил по счету, даже к зубному врачу...

Трубка упала на гравий дорожки и раскололась на куски. Отец Браун вращал глазами, являя точное подобие кретина.

– Господи, какой же я дурак! – повторял он. – Господи, какой дурак! – И начал смеяться немного дребезжащим смехом. – Зубной врач! – сказал он. – Шесть часов я терзался духом, и все потому, что не вспомнил о нем! Какая простая, какая прекрасная, мирная мысль! Друзья мои, мы провели ночь в аду, но сейчас встало солнце, поют птицы, и сияние зубного врача озаряет мир.

– Я разберусь, что тут к чему! – крикнул Фламбо. – Пытать вас буду, а разберусь!

Отец Браун подавил, по всей видимости, желание пройтись в танце вокруг светлой лужайки и закричал жалобно, как ребенок:

– Ой, дайте мне побыть глупым! Вы не знаете, как я мучился. А теперь я понял, что истинного греха в этом деле нет. Только невинное сумасбродство, это ведь не страшно.

Он повернулся вокруг оси, потом серьезно посмотрел на спутников.

– Это не преступление, – сказал он. – Это история о странной, искаженной честности. Должно быть, мы повстречали единственного человека на свете, который не взял ничего, кроме того, что ему причитается. Он проявил ту дикую житейскую последовательность, которой поклоняется его народ.

Старый стишок о Гленгайлах не только метафора, но и правда. Он говорит не только о тяге к богатству. Графы собирали именно золото, они собрали много золотой утвари и золотых узоров. Они были скупцами, свихнувшимися на этом металле. Посмотрим теперь, что мы нашли. Алмазы без колец; свечи без подсвечников; стержни без карандашей; трость без

набалдашника; часовые механизмы без часов – наверное, маленьких. И как ни дико это звучит, молитвенники без имени Бога, ибо его выкладывали из чистого золота.

Сад стал ярче, трава – зеленее, когда прозвучала невыносимая истина. Фламбо закурил; друг его продолжал.

– Золото взяли, – говорил отец Браун, – взяли, но не украли. Воры ни за что не оставили бы такой тайны. Они взяли бы табак, и стержни, и колесики. Но здесь был человек со странной совестью – и все же с совестью. Я встретил безумного моралиста в огороде, и он рассказал мне, как было дело.

Покойный лорд Гленгайл был лучше всех, кто родился в замке. Но его скорбная праведность обратилась в мизантропию. Мысль о несправедливости предков привела его к мысли о неправедности всех людей. Особенно ненавидел он благотворительность; и поклялся, что, если встретит человека, который берет только свое, он отдаст ему золото Гленгайлов. Бросив этот вызов человечеству, он заперся, не ожидая ответа. Однажды глухой идиот из дальней деревни принес ему телеграмму, и Гленгайл, мрачно забавляясь, дал ему новый фартинг. Вернее, он думал, что дал фартинг, но, перебирая монеты, увидел, что дал по рассеянности соверен. Он стал прикидывать, исчезнет ли деревенский дурак или продемонстрирует честность; вором окажется он или ханжой, ищущим вознаграждения. Ночью его поднял стук (он жил один), и ему пришлось открыть дверь. Дурак принес не соверен, а девятнадцать шиллингов одиннадцать пенсов три фартинга сдачи.

Дикая эта точность поразила разум безумца. Как Диоген, искал он человека – и нашел! Тогда он изменил завещание. Я его видел. Молодого буквалиста он взял к себе, в большой и запущенный дом. Тот стал его слугой и, как ни странно, наследником. Что бы ни понимало это создание, оно прекрасно поняло две навязчивые идеи хозяина: буква закона – все, а золото принадлежит ему. Вот вам наша история; она проста. Он забрал золото и больше не взял ничего, даже понюшки табаку. Он ободрал золото с миниатюр, радуясь, что они остались как были. Это я понимал; но я не понял про череп. Голова среди картошки озадачила меня – пока Фламбо не вспомнил о враче. Все в порядке. Садовник положит голову в могилу, когда снимет золотую коронку.

И впрямь, когда, немного позже, Фламбо шел по холму, он увидел, как странная тварь, честный скряга, копает оскверненную могилу. Шея его была укутана пледом – в горах дует ветер; на голове красовался черный цилиндр.

Неверный контур

Пер. Т. Казавчинской

Дороги северных окраин Лондона и за чертою города выглядят как призрачные улицы – неровный и растянутый пунктир домов упорно держит строй. За кучкой лавок тянется пустырь или лужок с живой изгородью, подальше – модный кабачок, питомник или огород, за ними особняк, очередной лужок, очередной трактир и так до бесконечности. Гуляя по одной такой дороге-улице, нельзя не приметить дом, который, Бог весть почему, всегда манит к себе прохожих, – растянутое, невысокое, бело-салатное строение с верандой, шторами на окнах и несуразными навесами, похожими на деревянные зонты, какими прикрывали двери в старину. Это и впрямь старинный дом: добротный, загородный, истинно английский, как строили в богатом старом Клэпеме. Но кажется, что создан он для тропиков: его белые стены и светлые шторы приводят на ум пальмы и тюрбаны. Его строителем, наверное, был англоиндус.

Дом этот почему-то вас притягивает, вы ощущаете, что здесь произошла какая-то история. Да так оно и есть, и вы ее сейчас узнаете. Вот она, эта история, цепь странных, впрочем, подлинных событий, случившихся на Троицу в тысяча восемьсот не помню точно каком году.

В четверг, за два дня до праздника, в половине пятого пополудни двери светло-зеленого дома широко распахнулись, и оттуда, попыхивая длинной трубкой, вышел отец Браун, священник церквущки Святого Мунго, в сопровождении своего друга француза Фламбо, высоченного детины с крошечной сигареткой в зубах. Возможно, вам неинтересны эти двое, но за их спинами виднелось нечто более занятное – в светло-зеленом доме водились всяческие чудеса. С дома мы и начнем, чтобы читатель мог вообразить и происшедшую трагедию, и то, что открывалось взору в раме распахнутых дверей.

Дом в плане походил на перевернутую букву «Т» с довольно длинной перекладиной на относительно короткой ножке. Перекладиной служил стоявший вдоль дороги двухэтажный особняк с парадной дверью посередине, где размещались все жилые комнаты. Сзади, как раз против крыльца, к нему примыкала короткая одноэтажная пристройка, ножка этого «Т», состоявшая из двух вытянутых, переходивших одна в другую зал. В первой – кабинете – великий Квинтон творил свои буйные восточные песнопения, вторая, дальняя, была оранжереей и утопала в экзотических цветах неповторимой и зловещей красоты, а в ясные, погожие деньки, вроде сегодняшнего, переливалась в ярких лучах. Стоило открыть входную дверь, и у случайного прохожего захватывало дух: внутри, как в сцене из волшебной сказки, в анфиладе богато убранных комнат среди лиловых облаков алели звезды и сияли золотые солнца, до боли яркие, далекие, сквозистые, как кружево.

Этот эффект во всех деталях был продуман Квинтоном, который был поэтом, и вряд ли он хоть раз так полно выразил себя в поэзии. Ибо Квинтон принадлежал к тем, кто упивается цветом, купается в цвете, и ради цвета готов забыть о самой совершенной форме. Его душой всецело завладел Восток – восточное искусство. Его манит счастливый хаос красок, в котором кружатся, без обобщений и без поучений, узоры радужных ковров и пестрых вышивок. Ему достало и умения, и выдумки – чего не скажешь о художественном вкусе – изобразить мятеж неистовых, порою беспощадных красок. Он создал эпопеи и любовные элегии, где пламенело золотом и наливалось кровью закатное тропическое небо, где раджи в многоярусных тюрбанах сидели на зелено-синих и сиреневых слонах, где горы сказочных сокровищ, под тяжестью которых гнулись спины сотен негров, горели древним, многоцветным жаром.

Словом, Квинтон витал в небесах Востока, где пострашней, чем в преисподней Запада. Он прославлял владык Востока, которые нам показались бы безумцами, и восхвалял восточные сокровища, в которых ювелир с Бонд-стрит – случись туда добраться каравану изнемогающих невольников – увидел бы фальшивку. При всей своей болезненности, дар Квинтона был

гениален. Впрочем, его болезненность сильнее сказывалась в жизни, чем в искусстве. Нервозный и некрепкий, он изнурял себя и опиумом, чему противилась его жена, миловидная, работающая женщина, как водится, замученная жизнью. Тяжелее всего ей было присутствие в доме индуса-отшельника, безмолвной тени, менявшего белые и желтые одежды, которого Квинтон месяцами удерживал при себе, видя в нем своего Вергилия¹⁸, проводника по духовным безднам и высям Востока.

Из этих поэтических чертогов вышли отец Браун и Фламбо и с явным облегчением перевели дух. Фламбо знал Квинтона еще по Парижу, по бурным студенческим дням. Недавно они провели вместе уик-энд, но и теперь, ступив на стезю добродетели, Фламбо с ним не сдружился: пары опиума и эротические стансы на веленовой бумаге Фламбо не привлекали, он полагал, что джентльмены попадают в ад другой дорогой. Высокий и коротенький замешкались, сворачивая в сад, но тут калитка громко стукнула, и на крыльцо, сгорая от нетерпения, ввалился беспутного вида малый в съехавшем на затылок котелке и ярко-красном галстуке, который был так смят и перекручен, словно владелец спал, не раздеваясь. В руках юнец вертел складную трость.

– Я к старине Квинтону, – вскричал он, задыхаясь. – Он у себя? Я по неотложному делу.

– Он у себя, – ответил отец Браун, не прекращая чистить трубку, – только вряд ли вас пустят. У него сейчас врач.

Нетвердым шагом пьяного новоприбывший двинулся в холл, но наперерез ему спешил доктор. Плотно прикрыв за собой дверь, он стал натягивать перчатки.

– К Квинтону? – осведомился он холодно. – Ни под каким видом, он только что принял снотворное.

– Поймите же, дружище, я совершенно на бобах. – С этими словами юнец в пунцовом галстуке попытался завладеть отворотами докторова сюртука.

– Не затрудняйте себя, мистер Аткинсон. – И доктор стал подталкивать пришельца к выходу. – Я пушу вас только, если вы сумеете отменить действие снотворного. – Решительно надвинув шляпу, он вышел в освещенный солнцем сад. Фламбо и отец Браун двинулись за ним. Наружность Хэрриса, благодушного крепыша с широким затылком и маленькими усиками, была невзрачна, но дышала силой.

Владелец котелка, который только и умел, что повисать на сюртуках у ближних, стоял под дверью, как побитый пес, и ошарашенно глядел вслед удалявшимся.

– Я прибежал ко лжи во спасение, – смеясь, признался доктор. – Правду сказать, еще не время принимать снотворное. Но я не дам на растерзание беднягу Квинтона. Этот прохвост только и знает, что кланчит деньги, а заведись вдруг свои собственные, и не подумает вернуть долги. Отпетый негодяй, хотя и брат такой чудесной женщины, как миссис Квинтон.

– Да, она славная, – кивнул отец Браун.

– Побродим по саду, пока этот тип не уберется восвояси, а позже я отнесу лекарство, – продолжал доктор. – Я запер дверь, и Аткинсону внутрь не пробраться.

– Свернем к оранжерее, – предложил Фламбо. – Правда, из сада в нее не попасть, но зато полюбуемся снаружи, она того стоит.

– А я взгляну одним глазком на больного. Он очень любит возлежать на оттоманке в глубине оранжереи, среди кроваво-красных орхидей. От одного их вида, – засмеялся Хэррис, – мороз по коже продирает. Что это вы делаете?

Склонившись на ходу, священник что-то поднял – почти скрытый густой травой, на земле лежал кривой восточный нож, инкрустированный драгоценными камнями и металлическими накладками.

– Откуда он тут? – Отец Браун неодобрительно смотрел на странный клинок.

¹⁸ Вергилий Публий Марон (70–19 до н. э.), древнеримский поэт; проводник Данте по всем кругам Ада. – *Здесь и далее примеч. пер.*

– Небось игрушка Квинтона, – небрежно бросил доктор. – У него весь дом набит китайскими безделушками. А может, нож и не его, а этого тихони-индуса, которого он держит при себе и днем и ночью.

– Индуса? – удивился патер, не отрывая взгляд от кинжала.

– Да, не то мага, не то плута, – беззаботно объяснил доктор.

– А вы не верите в магию? – Священник так и не поднял глаз от лезвия.

– Еще чего, в магию! – последовал ответ.

– Хорош! Какие краски! – мечтательно и тихо произнес отец Браун. – А вот линии не годятся.

– Для чего не годятся? – удивился Фламбо.

– Ни для чего. Не годятся сами по себе. Вы никогда не замечали, как завораживает цвет и как дурны и безобразны линии, причем намеренно дурны и безобразны, в произведениях восточного искусства? Я видел зло в узоре одного ковра.

– Mon Dieu, – засмеялся Фламбо.

– Мне не знакомы эти письмена, – все тише и тише продолжал отец Браун, – но смысл их мне понятен: в них есть угроза. Этот изгиб идет не в ту сторону, как у змеи, готовой к бегству.

– Что вы такое бормочете? – прервал его громким смехом доктор.

Ему ответил трезвый голос Фламбо:

– На отца Брауна находит иногда мистический туман, но должен вас предупредить, что всякий раз это бывает лишь тогда, когда и вправду рядом зреет зло.

– Ну и ну! – воскликнул человек науки.

– Да вы взгляните сами, – отец Браун держал кривой клинок на отлете, словно живую змею. – Взгляните на эти линии. Для чего он создан, этот нож? Каково его назначение, прямое и честное? В нем нет ни остроты дротика, ни плавного изгиба косы. Это скорее орудие пытки, а не брани.

– Ну, раз он вам не по душе, – сказал развеселившийся Хэррис, – вернем его законному владельцу. Что это мы никак не добредем до этой чертовой оранжереи? Осмелюсь заявить, тут и дом такой же подлой формы.

– Нет, вы меня не поняли, – священник покачал головой. – Дом этот, может быть, нелеп и даже смешотворен, но в нем нет ничего дурного.

Беседуя, они пришли к оранжерее, в стеклянном полукружии которой не было ни одного проема – ни дверного, ни оконного. Сквозь чистое стекло на ярком предзакатном солнце пылали красные соцветия, а в глубине, на оттоманке в бессильной позе простерлась хрупкая фигурка в коричневой бархатной куртке – поэт, должно быть, задремал над книжкой. Он был бледен, строен, с массой рассыпанных каштановых кудрей, и узкая бахромка бороды отнюдь не прибавляла ему мужественности. Все это много раз случалось видеть доктору и прочим, но даже будь это не так, они сейчас не одарили бы Квинтона и беглым взглядом, ибо глаза их были прикованы к другому.

На тропе, за круглым выступом оранжереи стоял высокий человек в ниспадающих до земли белых одеждах, и заходящее солнце играло в прекрасной темной бронзе его гладкого черепа, лица и шеи. Он был недвижим, как гора, и пристально смотрел на спящего.

– Кто это? – воскликнул отец Браун, и голос его упал до шепота.

– Тот самый каналья индус, – проворчал Хэррис. – Какого дьявола ему здесь нужно?

– Похоже на гипноз, – сказал Фламбо, покусывая черный ус.

– Ну почему невежды в медицине так любят сваливать все на гипноз? – взорвался доктор. – Грабеж, а не гипноз, вот чем это пахнет.

– Что ж, спросим у него самого. – И не терпевший проволочек Фламбо одним прыжком покрыл разделявшее их расстояние. С высоты своего роста он кивнул менее рослому индусу и сказал миролюбиво, но дерзко: – Добрый вечер, сэр! Что вам угодно?

Медленно, словно корабль, идущий в гавань, к ним обратилось крупное и смуглое лицо, чтобы тотчас застыть над полотняной белизной плеча. Поразительней всего было то, что желтоватые веки были смежены, точно у спящего.

– Благодарю вас, – без малейшего акцента произнесло лицо, – мне ничего не нужно. – Слегка открыв глаза, как будто для того, чтоб показать опаловую полоску белков, оно еще раз повторило: – Мне ничего не нужно. – И широко раскрыв глаза, светившиеся удивлением, сказало вновь: – Мне ничего не нужно. – И с тихим шелестом исчезло среди густевших теней сада.

– Христианин скромнее, ему что-то нужно, – пробормотал священник.

– Что он все-таки тут делал? – насупившись, спросил Фламбо.

– Поговорим позже, – бросил патер.

Солнце еще сияло, но то был красный свет заката, на фоне которого ветки кустов и деревьев быстро сливались в черные пятна. Оставив позади оранжерею, все трое тихо шли к крыльцу. В темном углу между фасадом и пристройкой послышался неясный шорох, как будто заволилась испуганная птица, и белый хитон факира, вынырнув из тьмы, скользнул вдоль дома к двери. Но в темноте был кто-то еще. Гулявшие вздохнули с облегчением, когда оттуда выступила миссис Квинтон. Ее белое широкое лицо под пышным золотом волос смотрело строго, но голос был приветлив.

– Добрый вечер, доктор, – промолвила она.

– Добрый вечер, миссис Квинтон, – тепло отозвался маленький человечек, – я как раз иду к вашему мужу со снотворным.

– По-моему, пора, – звучно ответила она и, улыбнувшись всем троим, стремительно прошествовала в дом.

– Напряжена, как струна, – заметил священник. – Она из тех, кто двадцать лет несет свой крест, чтобы на двадцать первом, взбунтовавшись, сотворить нечто ужасное.

Доктор впервые окинул священника заинтересованным взглядом:

– Вы изучали медицину?

– Нет, но врачуящему душу нужно знать и тело, ведь и врачам необходимо понимать не только тело.

– Пожалуй. Пойду дам Квинтону лекарство, – сказал Хэррис.

Они обошли дом и поднялись на крыльцо. В дверях им в третий раз попался человек в хитоне. Он шел прямо на них, как будто только что покинул кабинет, чего быть не могло – кабинет был заперт. Ни отец Браун, ни Фламбо не высказали вслух недоумения, а доктор был не из тех, кто иссушает ум бесплодными догадками. Пропустив вперед вездесущего индуса, он поспешил в холл. Тут взгляд его упал на полузабытого им Аткинсона, который что-то бормотал себе под нос, слоняясь из угла в угол и тыча в воздух узловатой бамбуковой тросточкой. По лицу Хэрриса пробежала гримаса гадливости, тотчас сменившаяся выражением крайней решимости. Он быстро зашептал своим спутникам:

– Придется снова запереть, иначе эта крыса проберется внутрь. Вернусь через минуту.

И он в мгновение ока открыл и снова запер дверь, успев одновременно отразить неловкую атаку Аткинсона, после чего тот с размаху плюхнулся в кресло. Фламбо загляделся на персидскую миниатюру, украшавшую стену, патер туповато уставился на дверь, которая отворилась ровно через четыре минуты. На этот раз Аткинсон был начеку. Он ринулся вперед, вцепился в ручку и заорал что было мочи:

– Это я, Квинтон. Я пришел за...

Издали, преодолевая то ли смех, то ли зевоту, ясным голосом отозвался Квинтон:

– Знаю, знаю, зачем вы пришли. Берите и идите. Я занят песнью о павлинах. – И, совершив полет, полсоверена оказались в руке у рванувшегося вперед и выказавшего недюжинную прыть Аткинсона.

– Ну, этот своего добился, – воскликнул доктор и, яростно щелкнув ключом, проследовал в сад.

– Бедняга Квинтон наконец немного отдохнет, – сказал Хэррис отцу Брауну. – Дверь заперта, и час, а то и два его не будут беспокоить.

– Голос у него довольно бодрый. – Священник обвел глазами сад. Вблизи маячила нескладная фигура Аткинсона, поигрывающего монетой в кармане, а в глубине сада, среди лиловых сумерек, виднелась прямая, как стрела, спина индуса, который сидел на зеленом пригорке, обратясь лицом к закату.

– А где миссис Квинтон? – встрепенулся патер.

– Наверху, у себя, видите тень на гардине? – показал доктор.

Священник поглядел на темный силуэт в светившемся окне.

– И верно. – Сделав несколько шагов, он опустился на скамейку, Фламбо сел рядом, а непоседа доктор, закурив на ходу, исчез во тьме. Друзья остались вдвоем, и Фламбо спросил по-французски:

– Что с вами, отец?

Священник помолчал, потом ответил:

– Религия не терпит суеверий, но что-то здесь разлито в воздухе. Быть может, дело в индусе, а может, и не только. – Он смолк и стал разглядывать индуса, казалось, погруженного в молитву. Его тело, на первый взгляд неподвижное, на самом деле совершало мерные, легчайшие поклоны, как будто повинуюсь ветру, трогавшему верхушки деревьев и крившемуся по засыпанному листвой мглистым дорожкам сада.

Как бывает перед бурей, тьма надвигалась быстро, но патеру и Фламбо еще видны были все четверо: все так же, привалясь к стволу, томился безучастный Аткинсон, тень миссис Квинтон лежала на гардине, доктор бродил у оранжереи – блуждающий огонек его сигары посверкивал вдали, все так же, словно вросши в землю, подрагивал в траве факир, и ветви у него над головой качались все сильнее и сильнее. Гроза висела в воздухе.

– Когда индус заговорил с вами, – доверительно и тихо начал патер, – на меня словно озарение нашло. Он просто трижды повторил одно и то же, а я вдруг увидел и его самого, и все его мироздание. Он в первый раз сказал: «Мне ничего не нужно», и я почувствовал, что ни его, ни Азию нельзя постигнуть. Он повторил: «Мне ничего не нужно», и это значило, что он как космос: ни в ком и ни в чем не нуждается – в Бога не верит, греха не признает. Блеснув глазами, он повторил свои слова еще раз. Теперь их следовало понимать буквально: ничто – его обитель и заветное желание, он алчет пустоты, как пьяница – вина. И эту жажду разрушения и отрицания...

Фламбо, на которого упали первые дождевые капли, вздрогнул, как от пчелиного укуса, и перевел глаза на небо. Выкрикивая на ходу что-то невнятное, к ним через весь сад бежал доктор. Промчавшись пулей мимо двух друзей, он, словно коршун, налетел на Аткинсона – тот никак не мог устоять на месте и все норовил перебраться поближе к крыльцу – и закричал, тряся его за шиворот:

– Кончайте вашу грязную игру! Что вы с ним сделали?

Священник резко выпрямился и голосом, звеневшим сталью, словно на разводе, внушительно сказал:

– Пустите его, доктор. Нас тут достаточно, чтоб задержать любого. Что там стряслось?

– Неладно с Квинтоном, – ответил побледневший доктор. – Я заглянул в окно и увидел, что он лежит в какой-то странной позе, не в той, в которой я его оставил.

– Пошли, – отрывисто распорядился патер. – И не держите Аткинсона. С тех пор как Квинтон говорил с ним, он все время был на виду.

– Я постерегу его, – вызвался Фламбо, – а вы идите вместе.

Доктор и священник быстро прошли в дом и, отперев кабинет, поспешили внутрь. С размаху налетев на большой письменный стол красного дерева – тьму озарял лишь тусклый жар камина, согревавший больного, – они заметили белевший на виду листок бумаги. Доктор рывком поднес его к глазам, прочел и, сунув Брауну со словами «Бог ты мой, вы только гляньте!», кинулся в оранжею. В зловещих алых лепестках словно сгустились отблески заката.

Патер перечел записку трижды. «Я убиваю себя сам, но все-таки меня убили», – написано было характерным, неясным почерком Квинтона. С запиской в руке священник направился в оранжею. Навстречу шел его собрат-доктор с лицом взволнованным и не оставляющим надежды. «Он совершил непоправимое», – были его слова.

Тело Леонарда Квинтона, мечтателя и поэта, лежало в чаше азалий и кактусов, чьей пышной красотой недоставало жизни. Голова его свесилась с тахты, кольца медных волос лежали на полу, из раны в боку торчал тот самый странный кривой нож, который попался им в саду, и слабая рука еще сжимала рукоять.

Гроза налетела сразу, как ночь у Колриджа, и под густой завесой дождя стеклянная крыша и сад сразу потемнели. Окинув беглым взглядом труп, священник снова взялся за записку. Он близко поднес ее к глазам, сиюсь прочесть ее при слабых вечерних лучах, потом стал против света, но в белом блеске молнии, на миг озарившей окно, бумага стала казаться черной.

Вернувшаяся тьма пальнула громом и затихла. И тотчас же из черноты донесся голос патера:

– Этот листок какой-то странной формы.

– Что вы хотите сказать? – Доктор нахмурился.

– Это неправильный квадрат, один из уголков отрезан. Зачем бы это, как вы думаете?

– Черт его знает! – сердито бросил доктор. – Подыдем беднягу, он кончился.

– Лучше оставим его как есть и известим полицию. – Браун по-прежнему не отрывал глаз от записки. Выходя, он задержался у стола и взял маленькие ножницы. – Ага, вот чем он это сделал. – Открытие, казалось, обрадовало его. – Но только зачем? – По лбу его побежали морщинки.

– Не забивайте себе голову пустяками, – горячо запротестовал Хэррис. – То была блажь, очередная блажь, каких у него были тысячи. К тому же вся бумага так обрезана. – И он указал на небольшую стопку чистой бумаги, лежавшей на маленьком столике поодаль. Священник взял один листок – он был такой же формы, как записка.

– Точно такой же, – сказал он, – а вот недостающие кусочки. – К возмущению доктора, он стал их пересчитывать.

– Ну вот, – отец Браун виновато улыбнулся, – двадцать три листка и двадцать два обрезка. Вы, я вижу, торопитесь вернуться в дом.

– Кому из нас пойти к жене? Я думаю, лучше вам. А я вызову полицию.

– Как скажете, – бесстрастно бросил Браун и вышел на крыльцо. Там он застал другую драму, или, скорее, бурлеск. Главный ее герой, рослый друг Брауна, Фламбо, стоял в давно забытой им бойцовой позе над распростертым на земле Аткинсоном, который барахтался у ступенек, мелькая ботинками в воздухе. Его прогулочная тросточка и котелок валялись на дорожке. Не выдержав наконец отеческой опеки бывшего короля воров, Аткинсон попытался сбить его с ног, что было несколько рискованно даже после того, как монарх отрекся от трона. Фламбо приготовился к ответному прыжку, но тут его плеча коснулась рука патера:

– Не ссорьтесь с Аткинсоном, мой друг. Простите его, примите его извинения и отпустите спать. Не смеем вас задерживать, сударь.

Тот неуверенно встал на ноги, собрал разбросанные вещи и зашагал прочь.

– А где индус? – спросил священник уже без тени юмора. К ним присоединился доктор, и, не сговариваясь, все трое повернули в сад к поросшему травой бугру под беспокойными

лиловыми кронами, где только что в молитвенном экстазе покачивался темнокожий факир. Но его там не было.

– Ну вот, все ясно, его прикончил этот темнолицый истукан. – Доктор в бешенстве топнул ногой.

– Вы ведь не верите в магию, – спокойно возразил священник.

– Нимало! Я с самого начала терпеть его не мог, всегда считал мошенником, но если он и вправду чудодей, он мне еще стократ противнее. – Доктор яростно вращал глазами.

– Он убежал, но что из этого? – возразил Фламбо. – Вину его тем не докажешь, в суд не вызовешь и с рассказами о самоубийстве по внушению к констеблю не пойдешь.

Священник скрылся в доме – пора было сказать о случившемся жене. Вскоре он появился, осунувшийся и расстроенный, но и потом, когда все разъяснилось, их разговор остался в тайне.

Фламбо, тихо переговаривавшийся с доктором, умолк при приближении друга, которого не ждал назад так быстро. Но, даже не взглянув на приятеля, тот отвел в сторону Хэрриса:

– Вы вызвали полицию?

– Да, она прибудет минут через десять.

– У меня к вам просьба, – бесстрастно продолжал священник. – Я, знаете ли, коллекционер – собираю диковинные истории. Почти всегда в них есть какая-нибудь малость, которую не вставишь в полицейский протокол, вроде нашего нынешнего приятеля-индуса. Вот я и хочу вас просить, чтоб вы описали все случившееся, но только для меня – без права на огласку. Дело у вас тонкое, и, сдаётся, вы опустили многие подробности. Священникам, как и врачам, положено хранить секреты, и, что бы вы ни написали, это останется между нами. Прошу вас, напишите все, что знаете.

Чуть склонив голову набок, врач напряженно слушал, потом, в упор взглянув на собеседника, сказал: «Согласен» – и устремился в кабинет. За ним хлопнула дверь.

– Пойдемте на веранду, Фламбо, – сказал французу Браун. – Там сухо, и мы покурим на скамейке. У меня никого нет ближе вас, и я хочу потолковать или, вернее, помолчать с вами.

Они устроились поудобнее, и, вопреки обыкновению, отец Браун принял предложенную ему сигару. Он молча думал, а дождь стучал у них над головами.

– Да, друг мой, странная история, – сказал он наконец.

– Невероятно странная. – Фламбо поежился, словно от холода.

– Вы говорите «странная», и я говорю «странная», но понимаем мы под этим разное, – возразил священник. – Новейший здравый смысл смешал в одно два разных понятия: мы называем тайной все чудесное и в то же время запутанное. От чуда замирает сердце, но суть проста. На то оно и чудо и послано нам Богом или дьяволом, а не петляет кривыми тропами природы и людских желаний. Вы полагаете, что увидали чудо из-за того, что здесь случилось непонятное: пришел злокозненный индус и приманил несчастье. Я вовсе не хочу сказать, что дело обошлось без рая или ада, – лишь им известна цепь причин и следствий, из-за которых люди совершают странные грехи. Но мне понятно лишь одно: если вы правы и дело в магии, значит, это чудо, и нет никакой тайны, вернее, нет ничего сложного, ибо чудо непостижимо, но пути его просты. Однако простотой тут и не пахнет.

Утихшая было гроза вернулась с новой силой, и с мощным шумом дождя слился негромкий рокот грома. Священник подождал, пока с сигары упал пепел, и вновь заговорил:

– Все тут запутано, все до безобразия сложно и очень далеко от прямизны ударов неба или ада. Как по петляющему следу узнают улитку, так и здесь я чую хитрую повадку человека.

Мигнув гигантским белым оком, небесный свод опять покрывлся тьмой, и патер продолжал:

– И самое тут подлое, подлее всего остального, этот обрезанный листок бумаги. Он хуже, чем кинжал, проткнувший Квинтону сердце.

– Это вы о записке, где он написал, что кончает счеты с жизнью?

– Да, о листке, где написано: «Я убиваю себя сам, но все-таки меня убили». Он скверно обрезан, друг мой, ничего хуже я не встречал в этом падшем мире.

– Там просто не хватает уголка. Квинтон, видно, обрезал так свою бумагу.

– Значит, он обрезал ее странно и, более того, мерзко. Послушайте, Фламбо, конечно, Квинтон, упокой, Господи, его душу, человек был испорченный, но художник настоящий. Он замечательно владел и кистью, и пером. Даже в его неясном почерке видны изящество и смелость линий. Не могу вам доказать – я не умею доказывать, – но чем хотите поручусь: он никогда не обкарнал бы так листок бумаги. Задумай он его обрезать, подогнать, переплести, да что угодно, рука его сделала бы совсем другое движение. Вы только вообразите себе этот листок, какой ужасный, дикий, возмутительный обрез – вот такой! Неужели не помните? – Горящим кончиком сигары патер быстро чертил в воздухе неправильные квадраты.

«Как огненные письма в ночи, – подумалось Фламбо, – загадочные письма, таящие угрозу, которую он вспоминал недавно». Откинувшись на спинку скамьи, священник затянулся сигарой и вперил взор в крышу. Фламбо отвлек его:

– Положим, углы обрезал не он, но при чем тут самоубийство?

Отец Браун продолжал смотреть вверх, не отвечая. Наконец он вынул сигару изо рта и сказал:

– Никакого самоубийства не было.

Фламбо удивленно воззрился на него:

– Тогда зачем он в нем признался?

Священник снова подался вперед, поставил локти на колени, потупил взгляд и внятно, но тихо выговорил:

– Он в нем не признавался.

Сигара выпала из рук Фламбо.

– Значит, это подлог?

– Нет, писано его рукой.

– То-то же, – запальчиво сказал Фламбо, – человек своей рукой пишет на листке бумаги:

«Я убиваю себя сам...»

– На скверно обрезанном листке бумаги, – спокойно поправил его Браун.

– Какое это имеет значение, черт подери?

– Там было двадцать три листка и двадцать два обрезка, – патер сидел не шевелясь, – один кусочек уничтожен. Легко предположить – как раз его недостает в записке. Вас это не наводит ни на какие размышления?

Свет мысли озарил лицо Фламбо:

– Наверное, там было что-то написано, что-нибудь вроде: «Не верьте, если скажут» или «Хотя...».

– Как говорят дети, теперь теплее, – кивнул священник. – Только кусочек был крохотный, на нем не уместить и слова. Вам не приходит в голову какой-нибудь значок, чуть больше запятой, который мог бы стать уликой? Его-то и пришлось убрать тому, кто продал душу дьяволу...

– Что-то не соображу, – ответил, помолчав, Фламбо.

– А что бы вы сказали о кавычках? – спросил Браун, отшвырнув сигару, огонек которой прорезал тьму, как падающая звезда.

От удивления Фламбо как будто онемел, а Браун терпеливо продолжал, словно втолковывал начатки грамоты:

– Не нужно забывать, что Квинтон жил воображением. Он писал повесть о ведовстве и магии Востока, ему...

Сзади с треском распахнулась дверь, и вышел доктор в шляпе. Он на ходу протянул отцу Брауну пухлый конверт:

– Вот документ, который вы просили. А мне пора. Прощайте.

– Доброй ночи, – в спину ему ответил Браун. Тот удалялся быстрым шагом. Из раскрытой двери на двух друзей падал сноп газового света. Священник распечатал конверт и прочел следующее послание:

«Дорогой отец Браун! *Vicisti, Galilae*¹⁹. Иначе говоря, будь прокляты ваши всевидящие глаза! Неужто что-то кроется за этим бредом – за поповской болтовней?

Всю жизнь, с самого детства моим богом была природа, я верил лишь в инстинкты и функции человеческого организма, не думая о том, морально это или аморально. Еще мальчишкой, не помышляя о карьере медика, я разводил мышей и пауков и видел в человеке совершенное животное, что полагал наиболее завидной участью. Неужто в ваших бреднях что-то есть? По-моему, я заболеваю.

Я полюбил жену Квинтона. Что тут дурного? Я следовал велению природы – мир движется любовью – и честно полагал, что ей со мною будет лучше, чем с Квинтоном, ибо безумец и мучитель много хуже, чем опрятное животное вроде меня. В чем я ошибся? Я рассмотрел все факты с беспристрастием ученого – со мной ей, несомненно, было б лучше.

Мои воззрения позволяли мне убить его. От этого выигрывали все, даже он сам. Но, как здоровое животное, я вовсе не желал, чтобы убили и меня. Я положил ждать случая, когда меня никто не заподозрит. И случай этот представился нынче утром.

Я трижды заходил сегодня к Квинтону. В первый раз он говорил, не умолкая, о своей новой мистической повести «Проклятие отшельника». Я застал его над рукописью. Он тотчас отложил ее, рассказал сюжет – английский полковник кончает жизнь самоубийством, поддавшись внушению индуса-отшельника; показал последние страницы и прочитал вслух заключительные строки, что-то вроде: «Гроза Пенджаба превратился в желтую пергаментную мумию, все еще поражающую гигантским ростом. С усилием опершись о локоть, он приподнялся и шепнул племяннику на ухо: «Я убиваю себя сам, но все-таки меня убили». Последней фразой начиналась чистая страница. То был редчайший шанс – один из тысячи. Я вышел, как в чад, меня пьянила страшная доступность задуманного.

Тут два других обстоятельства сложились в мою пользу: вы заподозрили индуса и нашли кинжал, который мог служить ему орудием. Я незаметно запихнул кинжал в карман, вернулся к Квинтону и дал ему снотворное. Он не хотел говорить с Аткинсоном, но я его заставил, мне важно было показать, что он был жив, когда я выходил. Квинтон лег в оранжерею, а я немного задержался в кабинете. Потребовалось полторы минуты, чтоб сделать все необходимое, – на руку я скор. Рукопись я отправил в камин – остался только пепел. Кавычки портили дело, и я обрезал угол. Для полного правдоподобия я отхватил углы у всей стопки чистой бумаги и вышел, твердо зная, что Квинтон жив и спит в оранжерею и что его признание в самоубийстве лежит на видном месте на столе.

Последний шаг был самым дерзким. Солгав, что я обнаружил труп, я бросился в оранжерею первым, задержал вас запиской и воткнул в Квинтона кинжал – на руку я скор. Из-за снотворного он был в забытьи, и я положил его кисть на рукоятку. Никто, кроме хирурга, не мог бы так направить кривой нож, чтобы попасть прямо в сердце. Неужто вы заметили и это?

Но тут случилось непредвиденное – природа отвернулась от меня. Я словно бы заболеваю. Я чувствую, что совершил дурное, и мне отказывает разум: при мысли, что вы все знаете и я не буду жить под этим бременем один, если женюсь и обзаведусь детьми, меня охватывает безрассуднейшая радость. Не знаю, что это? Безумие? Возможно ли, что угрызения совести и в самом деле существуют – как у героев Байрона? Кончаю, больше не могу.

Джеймс Эрскин Хэррис».

¹⁹ *Vicisti, Galilae*. – Ты победил, галилеянин (лат.).

Старательно сложенное письмо уже лежало в нагрудном кармане отца Брауна, когда послышался звонок дверного колокольчика и на пороге заблестели мокрые плащи полицейских.

Грехи графа Сарадина

Пер. Н. Демуровой

Когда Фламбо уезжал, чтобы отдохнуть от своей конторы в Вестминстере, он проводил обычно этот месяц вакаций в ялике, таком крошечном, что нередко идти на веслах в нем было проще, чем под парусом. К тому же уезжал он обычно в графства Восточной Англии, где текли речушки такие крошечные, что издали ялик казался волшебным корабликом, плывущим на всех парусах посуху, меж полей и заливных лугов. В ялике могли с удобством разместиться лишь два человека, а всего остального места едва хватало для самого необходимого. Фламбо и грузил в него то, что собственная жизненная философия приучила его считать самым необходимым. Он довольствовался четырьмя вещами: консервированная семга – на случай, если ему захочется есть; заряженные пистолеты – на случай, если ему захочется драться; бутылка бренди – скорее всего, на случай обморока; и священник – скорее всего, на случай смерти.

С этим легким грузом он и скользил потихоньку по узеньким норфолкским речушкам, держа путь к побережью и наслаждаясь видом склонившихся над рекой деревьев и зеленых лугов, отраженных в воде поместий и поселков, останавливаясь, чтобы поудить в тихих заводях, и прижимаясь, если можно так выразиться, к берегу.

Как истинный философ, Фламбо не ставил себе на время путешествия никакой цели; вместе с тем, как у истинного философа, у него был некий предлог. У него было некое намерение, к которому он относился достаточно серьезно, чтобы при успехе обрадоваться достойному завершению путешествия, но и достаточно легко, чтобы неудача его не испортила. Много лет назад, когда он был королем воров и самой известной персоной в Париже, он часто получал самые неожиданные послания с выражением одобрения, порицания или даже любви; одно из них он не забыл до сих пор. Это была визитная карточка в конверте с английским штемпелем. На обороте зелеными чернилами было написано по-французски: «Если когда-нибудь вы уйдете от дел и начнете респектабельную жизнь, навестите меня. Я хотел бы познакомиться с вами, ибо я знаком со всеми другими великими людьми нашего времени. Остроумие, с которым вы заставили одного сыщика арестовать другого, составляет великолепнейшую страницу истории Франции».

На лицевой стороне карточки было изящно выгравировано: «Граф Сарадин, Камышовый замок, Камышовый остров, графство Норфолк».

В те дни Фламбо не очень-то задумывался об этом приглашении; правда, он навел справки и удостоверился, что в свое время граф принадлежал к самым блестящим кругам светского общества Южной Италии.

Ходили слухи, что в юности он бежал с замужней женщиной знатного рода, весьма обычная история в его кругу, если бы не одно трагическое обстоятельство, благодаря которому оно запомнилось: как говорили, муж этой женщины покончил с собой, бросившись в пропасть в Сицилии. Какое-то время граф прожил в Вене; последние же годы он провел в беспрестанных и беспокойных странствиях. Но когда Фламбо, подобно самому графу, перестал привлекать внимание европейской публики и поселился в Англии, он как-то подумал, что неплохо было бы нанести, конечно, без предупреждения, визит этому знатному изгнаннику, поселившемуся среди норфолкских долин.

Он не знал, удастся ли ему отыскать поместье графа, настолько оно было мало и прочно забыто. Впрочем, случилось так, что он нашел его гораздо быстрее, чем предполагал.

Однажды вечером они причалили к берегу, поросшему высокими травами и низкими подстриженными деревьями. После тяжелого дня сон рано одолел их, но по странной случайности оба проснулись на рассвете. Строго говоря, день еще не занялся, когда они проснулись; огромная лимонная луна только садилась в чашу высокой травы у них над головами, а небо

было глубокого сине-лилового цвета – ночное, но светлое небо. Обоим вспомнилось детство – неизъяснимая, волшебная пора, когда заросли трав смыкаются над нами, словно дремучий лес. Маргаритки на фоне гигантской заходящей луны казались какими-то огромными фантастическими цветами, а одуванчики – огромными фантастическими шарами. Все это напомнило им почему-то рисунок на обоях в детской. Река подмывала снизу высокий берег, и они смотрели вверх на траву, словно прячась в корнях зарослей и кустарников.

– Ну и ну! – воскликнул Фламбо. – Словно заколдованное царство!

Отец Браун порывисто сел и перекрестился. Движения его были так стремительны, что Фламбо взглянул на него с удивлением и спросил, в чем дело.

– Авторы средневековых баллад, – отвечал священник, – знали о колдовстве гораздо больше, чем мы с вами. В заколдованных царствах случаются не одни только приятные вещи.

– Чепуха! – воскликнул Фламбо. – Под такой невинной луной могут случаться только приятные вещи. Я предлагаю плыть тотчас же дальше – посмотрим, что будет! Мы можем умереть и пролежать целую вечность в могилах – а такая луна и такое колдовство не повторятся!

– Что ж, – сказал отец Браун. – Я и не думал говорить, что в заколдованное царство вход всегда заказан. Я только говорил, что он всегда опасен.

И они тихо поплыли вверх по светлеющей реке; лиловый багрянец неба и тусклое золото луны все бледнели, пока наконец не растаяли в безграничном бесцветном космосе, предвещающем буйство рассвета. Первые нежные лучи серо-алого золота прорезали из края в край горизонт, как вдруг их закрыли черные очертания какого-то городка или деревни, возникшие впереди на берегу. В светлеющем сумраке рассвета все предметы были явственно видны – подплыв поближе, они разглядели повисшие над водой деревенские крыши и мостики. Казалось, что дома с длинными, низкими, нависшими крышами столпились на берегу, словно стадо огромных серо-красных коров, пришедших напиться из реки, а рассвет все ширился и светлел, пока не превратился в обычный день, но на пристанях и мостах молчаливого городка не видно было ни души. Спустя какое-то время на берегу появился спокойный человек преуспевающего вида, с лицом таким же круглым, как только что зашедшая луна, с лучиками красно-рыжей бороды вокруг нижнего его полукружия; стоя без пиджака у столба, он следил за ленивой волной. Повинуясь безотчетному порыву, Фламбо поднялся в шатком ялике во весь свой огромный рост и зычным голосом спросил, не знает ли он, где находится Камышовый остров. Тот только шире улыбнулся и молча указал вверх по реке, за следующий поворот. Не говоря ни слова, Фламбо поплыл дальше.

Ялик обогнул крутой травянистый выступ, потом другой, третий и миновал множество поросших осокой укромных уголков; поиски не успели им наскучить, когда, пройдя причудливой излучиной, они оказались в тихой заводи или озере, вид которого заставил их тут же остановиться. В центре этой водной глади, окаймленной по обе стороны камышом, лежал низкий длинный остров, на котором стоял низкий длинный дом из бамбука или какого-то иного прочного тропического тростника. Вертикальные стебли бамбука в стенах были бледно-желтыми, а диагональные стебли крыши – темно-красными или коричневыми, только это и нарушало монотонное однообразие длинного дома. Утренний ветерок шелестел в зарослях камыша вокруг острова, посвистывая о ребра странного дома, словно в огромную свирель бога Пана.

– Д-да! – воскликнул Фламбо. – Вот мы и приехали! Вот он, Камышовый остров! А это, конечно, Камышовый замок – ошибиться тут невозможно. Должно быть, тот толстяк с бородой был просто волшебник.

– Возможно, – спокойно заметил отец Браун. – Но только злой волшебник!

Нетерпеливый Фламбо подвел уже ялик меж шуршащих камышей к берегу, и они ступили на узкий, загадочный остров прямо возле старого притихшего дома.

К единственному на острове причалу и к реке дом стоял глухой стеной; дверь была с противоположной стороны и выходила прямо в сад, вытянутый вдоль всего острова. Двое дру-

зей направились к двери тропкой, огибающей дом с трех сторон прямо под низким карнизом крыши. В три разных окна в трех разных стенах дома им видна была длинная светлая зала, обшитая панелями из светлого дерева, с множеством зеркал и с изящным столом, словно накрытым для завтрака. Подойдя к двери, они увидели, что по обе стороны ее стоят две голубые, словно бирюза, вазы для цветов. Дверь отворил дворецкий унылого вида – сухопарый, седой и апатичный, – пробормотавший, что граф Сарадин в отъезде, что его ждут с часу на час и что дом готов к приезду его самого и его гостей. При виде карточки, исписанной зелеными чернилами, мрачное и бледное, как пергамент, лицо верного слуги на миг оживилось, и с внезапной учтивостью он предложил им остаться.

– Мы ждем его сиятельство с минуты на минуту. Они будут в отчаянии, если узнают, что разминулись с господами, которых они пригласили. У нас всегда наготове холодный завтрак для графа и его гостей, и я не сомневаюсь, что его сиятельство пожелали бы, чтобы вы откушали у нас.

Побуждаемый любопытством, Фламбо с благодарностью принял предложение и последовал за стариком, который торжественно ввел их в длинную светлую залу. В ней не было ничего особо примечательного – разве что несколько необычное чередование длинных узких окон с длинными узкими зеркалами в простенках, что придавало зале на удивление светлый, эфемерный вид. Впечатление было такое, будто садишься за стол под открытым небом. По углам висели неяркие портреты: фотография юноши в военном мундире, выполненный красными мелкими эскиз, на котором были изображены два длинноволосых мальчика. На вопрос Фламбо, не граф ли этот юноша в военном мундире, дворецкий отвечал отрицательно. Это младший брат графа, капитан Стефан Сарадин, пояснил он. Тут он внезапно замолк и, казалось, потерял последнее желание продолжать разговор.

Покончив с завтраком, за которым последовал отличный кофе с ликером, гости ознакомились с садом, библиотекой и домоправительницей – красивой темноволосой женщиной с величавой осанкой, похожей на Мадонну из подземного царства Плутона. По-видимому, от прежнего *menage*²⁰ графа, вывезенного им из-за границы, остались лишь она да дворецкий, все же остальные слуги были наняты ею в Норфолке. Эту даму все звали миссис Антони, но в речи ее слышался легкий итальянский акцент, и Фламбо ни минуты не сомневался в том, что «Антони» – это норфолкский вариант имени более южного звучания. В манере мистера Поля (так звали дворецкого) также был легкий налет чего-то чужеземного; впрочем, по языку и воспитанию он, несомненно, был англичанином, как это нередко бывает со старыми слугами знатных космополитов.

Вокруг дома – при всей его необычности и красоте – витала какая-то странная светлая печаль. Часы тянулись в нем, словно дни. Длинные комнаты с высокими окнами были залиты светом, но в свете этом было что-то мертвенное. И, покрывая все случайные звуки – голоса, звон стаканов, шаги слуг, слышался неумолчный и грустный плеск реки.

– Недобрый это был поворот и недоброе это место, – сказал отец Браун, глядя из окна на серовато-зеленые травы и серебристый ток воды. – Впрочем, кто знает? Порой добрый человек в недобром месте может сделать немало добра.

Отец Браун, хоть и был обычно молчалив, обладал странным даром притяжения, и в эти несколько часов, что тянулись целую вечность, он невольно проник в тайны Камышового дворца гораздо глубже, чем его друг-профессионал с его профессиональным чутьем. Он умел дружелюбно молчать, чем невольно вызывал людей на беседу, и, почти не раскрывая рта, узнавал все, что его новые знакомые хотели бы поведать. Правда, дворецкий совсем не склонен был к разговорам. В нем чувствовалась безрадостная и почти собачья преданность графу, с которым, если верить его словам, поступили очень дурно. Основным обидчиком был, судя по

²⁰ *Menage* – штат слуг (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.

всему, брат его сиятельства; произнося его имя, дворецкий презрительно морщил свой выгнутый, словно клюв попугая, нос и кривил насмешкой бледные губы. Капитан Стефан, по словам дворецкого, был бездельником и шалопаем, он промотал большую часть состояния своего великодушного брата; это из-за него графу пришлось оставить свет и скромно доживать свой век в глуши. Больше дворецкий ничего не захотел им сообщить; несомненно, он был очень предан графу.

Итальянка-домоправительница была несколько более склонна к признаниям; очевидно, потому, что была, как показалось Брауну, несколько менее довольна своим положением. Когда она говорила о своем господине, в голосе ее звучала легкая язвительность, впрочем, приглушаемая чем-то вроде ужаса. Фламбо и отец Браун стояли в зеркальной зале, разглядывая эскиз, на котором были изображены два мальчика, как вдруг быстрыми шагами в нее вошла домоправительница, словно торопясь по какому-то делу. В этой сверкающей стеклянными поверхностями зале каждый входящий отражался одновременно в четырех или пяти зеркалах, – и отец Браун, не повернув головы, умолк на середине начатой фразы. Однако Фламбо, нагнувшийся к эскизу, в эту минуту громко произнес:

– Это, верно, братья Сарадин. У обоих такой невинный вид. Трудно сказать, кто из них хороший, а кто – дурной.

Тут он осознал, что они в зале не одни, и поспешно перевел разговор; после нескольких ничего не значащих фраз он вышел в сад. Отец Браун остался в зале. Он стоял, не отводя глаз от эскиза, а миссис Антони тоже осталась и стояла, не отводя глаз от отца Брауна.

Ее огромные карие глаза приобрели трагическое выражение, а оливковые щеки покрыл густой румянец; казалось, ее охватило какое-то горестное недоумение, как бывает, когда, встретившись с незнакомцем, задумаешься над тем, кто он и что ему надо. То ли облачение и сан отца Брауна пробудили в ней далекие воспоминания об исповеди в родных краях, то ли ей показалось, что он знает больше, чем то было на самом деле, только она вдруг шепнула ему тихо, словно сообщнику:

– В одном ваш друг совершенно прав. Он говорит, что трудно решить, кто из них хороший, а кто дурной. Да, трудно, необычайно трудно было бы решить, кто же из них хороший.

– Я вас не понимаю, – промолвил отец Браун и повернул к дверям.

Она шагнула к нему, грозно хмуря брови и как-то странно, дико пригнувшись, словно бык, опустивший рога.

– Оба дурны, – прошипела она. – Нехорошо, что капитан взял все эти деньги, но то, что граф отдал их, не лучше. Не у одного только капитана совесть нечиста.

Лицо священника на мгновение озарилось, и губы его беззвучно прошептали одно слово: «шантаж».

В ту же минуту домоправительница быстро оглянулась, побелела, как полотно, и чуть не упала. Двери в залу неслышно распахнулись, и на пороге, словно привидение, вырос Поль. Роковые стены отразили пять бледных Полей, появившихся в пяти дверях замка.

– Его сиятельство прибыли, – молвил он.

В то же мгновение мимо залитого светом окна, словно по ярко освещенной сцене, прошел мужчина. Через секунду он прошел мимо второго окна, и множество зеркал воспроизвели в сменяющихся рамах его орлиный профиль и быстрый шаг. Он был строен и скор в движениях, но волосы у него были седые, а цвет лица напоминал пожелтевшую слоновую кость. У него был короткий римский нос с горбинкой, худое длинное лицо, щеки и подбородок прикрывали усы с эспаньолкой. Усы были гораздо темнее, чем борода, что придавало ему слегка театральный вид; одет он был также весьма живописно: белый цилиндр, орхидея в петлице, желтый жилет и желтые перчатки, которыми он размахивал на ходу. Собравшиеся в зале слышали, как он подошел к входу, и Поль церемонно распахнул перед ним дверь.

– Что ж, – промолвил граф весело, – как видишь, я вернулся.

Поль церемонно поклонился и что-то тихо ответил. Последовавшего разговора не было слышно. Затем дворецкий сказал:

– Все готово к вашему приему.

Граф Сарадин вошел в залу, весело помахивая желтыми перчатками. И снова им предстало призрачное зрелище – пять графов ступили в комнату сквозь пять дверей.

Граф уронил белый цилиндр и желтые перчатки на стол и протянул руку своему гостю.

– Счастлив видеть вас у себя, мистер Фламбо, – произнес он весело. – Надеюсь, вы позволите мне сказать, что я хорошо знаю вас по слухам.

– С удовольствием позволяю, – ответил со смехом Фламбо. – Ничего не имею против. О людях с безукоризненной репутацией редко услышишь что-нибудь интересное.

Граф бросил на Фламбо проницательный взгляд, однако, поняв, что в его ответе не было никакого намека, рассмеялся, предложил всем сесть и уселся сам.

– Здесь очень мило, – сказал граф рассеянно. – Боюсь только, делать тут особенно нечего. Впрочем, рыбная ловля хороша.

Какое-то странное, непонятное чувство мучило отца Брауна, не отрывавшего от графа напряженного, как у младенца, взгляда. Он смотрел на седые, тщательно завитые волосы, на желто-белые щеки, на стройную, фатоватую фигуру. Во всем его облике не было явной нарочитости, разве что известная подчеркнутость, словно в фигуре актера, залитой светом рамп. Безотчетный интерес вызывало что-то другое, возможно, само строение лица; Брауна мучило смутное воспоминание, словно он уже где-то видел этого человека раньше, словно то был старый знакомый, надевший маскарадный костюм. Тут он вспомнил про зеркала и решил, что странное это чувство вызвано психологическим эффектом бесчисленного умножения человеческих масок.

Граф Сарадин занялся своими гостями с величайшим вниманием и тактом. Узнав, что Фламбо любит рыбную ловлю и мечтает поскорее заняться ею, он проводил его на реку и показал наилучшее место. Оставив там Фламбо вместе с его яликом, он вернулся в собственном челноке; через двадцать минут он уже сидел с отцом Брауном в библиотеке, с той же учтивостью погружаясь в философские интересы священника. Казалось, он был одинаково сведущ и в рыбной ловле, и в книгах, правда, не самого поучительного свойства, и говорил языках на шести, правда, преимущественно в жаргонном варианте. Судя по всему, он жила в самых различных городах и общался с самой разношерстной публикой, ибо в самых веселых его историях фигурировали игорные притоны и курильщики опиума, беглые австралийские каторжники и итальянские бандиты. Отец Браун знал, что граф Сарадин, бывший когда-то светским львом, провел последние годы в почти беспрестанных путешествиях, но он и не подозревал, что путешествия эти были столь забавны и столь малопочтенны.

Такой чуткий наблюдатель, каким был отец Браун, ясно ощущал, что при всем достоинстве светского человека графу Сарадину был присущ особый дух беспокойства и даже безответственности. Лицо его было благообразным, однако во взгляде таилось что-то необузданное; он то и дело барабанил пальцами или нервно вертел что-нибудь в руках, словно человек, здоровье которого подорвали наркотики или спиртное; к тому же кормила домашней власти были не в его руках, чего, впрочем, он и не скрывал. Всем в доме заправляли домоправительница и дворецкий, особенно последний, на котором, несомненно, и держался весь дом. Мистер Поль был, безусловно, не дворецким, а скорее управляющим или даже камергером; обедал он отдельно, но почти с той же торжественностью, что и его господин; слуги перед ним трепетали; и хоть он для приличия и советовался с графом, но делал это строго и церемонно, словно был поверенным в делах, а отнюдь не слугой. Рядом с ним мрачная домоправительница казалась просто тенью; она совсем стушеввалась и была всецело им поглощена, так что Брауну не пришлось больше слышать ее страстного шепота, приоткрывшего ему тайну о том, как младший брат шантажировал старшего. Он не знал, верить ли этой истории об отсутствующем капитане,

но в графе Сарадине было нечто ускользающее, потаенное, так что история эта не казалась вовсе невероятной.

Когда они вернулись наконец в длинную залу с окнами и зеркалами, желтый вечер уже лег на прибрежные ивы; вдалеке ухала выпь, словно лесной дух бил в крошечный барабан. И снова, словно серая туча, в уме священника всплыла мысль о печальном и злом колдовстве.

– Хоть бы Фламбо вернулся, – пробормотал он.

– Вы верите в судьбу? – внезапно спросил его граф Сарадин.

– Нет, – отвечал его гость. – Я верю в Суд Господень.

Граф отвернулся от окна и как-то странно, в упор взглянул на священника; лицо его на фоне пламенеющего заката покрывала густая тень.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил он.

– Только то, что мы стоим по сю сторону завесы, – отвечал отец Браун. – Все, что здесь происходит, казалось бы, не имеет никакого смысла; но оно имеет смысл где-то в другом месте. Там настоящего преступника ждет возмездие. Здесь же оно нередко падает не на того, на кого следует.

Граф издал какой-то странный звук, словно раненое животное, глаза его на затененном лице как-то странно засветились. Новая и острая догадка внезапно, словно бесшумный взрыв, озарила священника. Возможно, блеск и рассеянность, так странно смешавшиеся в манере Сарадина, имели другое объяснение? Неужто граф?.. В полном ли он рассудке? Граф все повторял:

– Не того, кого следует... Не того, кого следует...

И это странно противоречило обычной светскости его манер.

Тут отец Браун с опозданием заметил и другое. В зеркалах напротив он увидел, что дверь в залу беззвучно распахнулась, а в ней беззвучно встал мистер Поль, с застывшим, мертво-бледным лицом.

– Я подумал, что мне следует немедленно сообщить вам, – сказал он все с тем же церемонным почтением, словно старый семейный адвокат, – что к причалу подошла лодка с шестью гребцами. На корме сидит джентльмен.

– Лодка? – повторил граф. – Джентльмен?

И он поднялся.

Во внезапно наступившей тишине слышался лишь зловеющий крик птицы в камышах, и тут же – не успел никто и слова сказать – мимо трех солнечных окон мелькнула новая фигура и новый профиль, подобно тому, как часа два назад мимо них промелькнул сам граф. Но если не считать того совпадения, что у обоих носы были орлиные, во внешности их не было никакого сходства. Вместо нового белого цилиндра Сарадина на голове у незнакомца была черная шляпа устаревшего или, возможно, чужеземного фасона; юным и строгим лицом, гладко выбритыми щеками, чуть синеющим решительным подбородком он отдаленно напоминал молодого Наполеона. Впечатление это усиливалось некоей старообразностью и странностью общего облика, словно незнакомец никогда не задумывался о том, чтобы изменить одежду предков. На нем был старый синий фрак, красный жилет, чем-то напоминающий военный, а жесткие белые панталоны, какие носили в начале царствования королевы Виктории, выглядели сейчас весьма неуместно. По сравнению с этим нелепым одеянием, словно взятым напрокат из лавки старьевщика, лицо его казалось удивительно юным и чудовищно искренним.

– Дьявольщина! – вскричал граф.

Быстро надев свой белый цилиндр, он направился к двери и широко распахнул ее в залитый заходящим солнцем сад.

Незнакомец и его спутники выстроились на лужайке, словно небольшая армия на театральной сцене. Шестеро гребцов вытянули лодку на берег и выстроились вокруг, чуть не угрожаясь подняв, словно копья, весла. Это были смуглые люди: у некоторых в ушах сверкали

серьги. Один из них, держа в руках большой черный футляр необычной формы, вышел вперед и стал возле юноши с оливковым лицом.

– Ваше имя Сарадин? – спросил юноша.

Сарадин небрежно кивнул.

Глаза незнакомца, спокойные и карие, как у породистого пса, были совсем не похожи на бегающие блестящие глаза графа. Но отца Брауна снова охватило болезненное ощущение, будто он уже где-то видел такое же точно лицо; и снова он вспомнил о бесконечном повторе лиц в зеркальной зале и объяснил им это странное совпадение.

– Да пропади он пропадом, этот хрустальный дворец! – пробормотал он. – Все в нем повторяется, словно во сне!

– Если вы граф Сарадин, – сказал юноша, – я могу сообщить вам, что мое имя – Антонелли.

– Антонелли, – проговорил граф медленно. – Это имя мне почему-то знакомо.

– Разрешите представиться, – сказал молодой итальянец.

Левой рукой он учтиво снял шляпу, а правой так сильно ударил Сарадина по лицу, что белый цилиндр скатился вниз по ступеням и одна из синих ваз закачалась на своей подставке.

Кем-кем, но трусом граф не был: он схватил своего противника за горло и чуть не повалил его на траву. Но юноша высвободился с видом торопливой учтивости, казавшейся в данном случае на удивление неуместной.

– Все правильно, – сказал он, тяжело дыша и неуверенно выговаривая английские слова. – Я нанес оскорбление. Я дам вам сатисфакцию. Марко, открой футляр.

Стоявший рядом с ним итальянец с серьгами в ушах и большим черным футляром открыл его и вынул оттуда две длинные итальянские рапиры, с превосходными стальными рукоятками и сверкающими лезвиями, которые он вонзил остриями в землю. Незнакомец со смуглым лицом мстителя, стоящий против дверей, две шпаги, стоящие, словно два могильных креста, вертикально в дерне, и ряд гребцов позади придавали всей этой странной сцене вид какого-то варварского судилища. Но так стремительно было это вторжение, что кругом все оставалось как было. Золотой закат все сиял на лужайке, а выпь кричала, будто пророча хоть и невеликую, но непоправимую утрату.

– Граф Сарадин, – сказал юноша, назвавшийся Антонелли, – когда я был младенцем, вы убили моего отца и похитили мать; из них обоим отцу моему более повезло. Вы убили его не в честном поединке, как собираюсь убить вас я. Вместе с моей матерью-злодейкой вы завезли его на прогулке в пустынное место в горах Сицилии и сбросили там со скалы, а затем отправились дальше своим путем. Я мог бы последовать вашему примеру, если бы это не было столь низко. Я искал вас по всему свету, но вы все время ускользали от меня. Наконец я настиг вас здесь – на краю света, на краю вашей гибели. Теперь вы в моих руках, и я даю вам возможность, в которой вы отказали моему отцу. Выбирайте, какой из этих шпаг вы будете драться.

Граф Сарадин сдвинул брови и, казалось, мгновение колебался; однако в ушах у него все еще звенело от пощечины; он бросился вперед и схватил рукоять одной из шпаг. Отец Браун также бросился вперед и попытался предотвратить схватку; он скоро, однако, понял, что его присутствие лишь ухудшает положение. Сарадин принадлежал к французским масонам и был ярким атеистом; вмешательство священника лишь подогревало его пыл. Что же до молодого человека – его никто не смог бы остановить. Этот юноша с карими глазами и лицом Буонапарте был тверже любого пуританина – он был язычником. Он был готов убить просто, как убивали на заре веков; он был человеком каменного века – нет, каменным человеком.

Оставалось одно – созвать всех домочадцев; отец Браун бросился в дом. Тут он, однако, узнал, что мистер Поль своей властью отпустил всех слуг на берег; одна лишь мрачная миссис Антони бродила, как призрак, по длинным комнатам. Однако в тот миг, когда она обратила к нему свое мертвенно-бледное лицо, отец Браун разгадал одну из загадок зеркального дворца.

Большие карие глаза Антонелли были так похожи на большие карие глаза миссис Антони, что половина тайны открылась ему, словно в озарении.

– Ваш сын здесь, – сказал он без долгих слов. – Либо он, либо граф будут убиты. Где мистер Поль?

– Он у причала, – ответила она тихо. – Он... он... зовет на помощь.

– Миссис Антони, – сказал отец Браун твердо, – сейчас не время для пустяков. Мой друг ушел на ялике вниз по течению. Лодку вашего сына охраняют его гребцы. Остается один челнок. Зачем он мистеру Полю?

– Святая Мария! Откуда мне знать? – проговорила она и упала на покрытый циновками пол.

Отец Браун уложил ее на диван, плеснул ей в лицо воды, крикнул слуг и бросился к пристани. Но челнок был уже на середине реки, и старый Поль гнал его вверх по течению с силой, казавшейся невероятной для его лет.

– Я спасу своего господина, – кричал он, сверкая глазами, словно помешанный. – Я еще спасу его!

Отцу Брауну ничего не оставалось, как только поглядеть вслед челноку, рывками идущему вверх по течению, и понадеяться, что Поль успеет разбудить городок и вовремя вернуться.

– Дуэль – это, конечно, плохо, – пробормотал он, откидывая со лба свои жесткие волосы цвета пыли. – Но что-то в этой дуэли не так. Я сердцем чувствую. Что бы это могло быть?

Так он стоял у реки, глядя на воду, это дрожащее зеркало заката, и тут с другого конца сада до него долетели негромкие звуки – ошибиться было невозможно, то было холодное бряцание стали. Он повернул голову.

На дальнем вытянутом конце длинного островка, на полоске травы за последним рядом роз, дуэлянты скрестили шпаги. Над ними пламенел чистый золотой купол вечернего неба, и, несмотря на расстояние, отец Браун отчетливо видел все детали. Дуэлянты сбросили фраки, но желтый жилет и белые волосы Сарадина и красный жилет и белые панталоны Антонелли блестели в ровном свете заката, словно яркие одежды заводных танцующих кукол. Две шпаги сверкали от рукояти до самого острия, словно две бриллиантовые булавки. В двух этих фигурах, казавшихся такими маленькими и такими веселыми, было что-то страшное. Они похожи были на двух бабочек, пытающихся насадить друг друга на булавку.

Отец Браун побежал к месту дуэли с такой быстротой, что ноги его замелькали, будто спицы в колесе. Однако, добежав до лужайки, он увидел, что явился слишком поздно – и в то же время слишком рано: поздно, ибо дуэли, осененной тенью опирающихся на весла сицилийцев, было не остановить; рано, ибо до трагической развязки было еще далеко. Оба дуэлянта были прекрасными фехтовальщиками; граф дрался с циничной самоуверенностью, сицилиец – с убийственным расчетом. Едва ли когда-либо набитый битком амфитеатр видел на сцене поединок, подобный тому, который звенел и сверкал здесь, на затерянном островке среди поросшей камышами реки. Блистательная схватка продолжалась так долго, что в груди взволнованного священника начала оживать надежда: с минуты на минуту должен был, по обычным расчетам, появиться мистер Поль с полицией. Отец Браун обрадовался бы и Фламбо, ибо Фламбо один мог с легкостью справиться с четырьмя мужчинами. Но Фламбо не появлялся, и – что было уже совсем странно – не появлялся и Поль с полицией. На островке не было больше ни лодчки, ни даже доски; они были так же прочно отрезаны от всего мира на этом погибельном клочке земли, затерянном в безвестной заводке, как на коралловом рифе в Тихом океане.

Внезапно звон рапир ускорился, послышался глухой удар, и граф вскинул руки – острие шпаги итальянца показалось у него меж лопаток. Граф качнулся всем телом вправо, словно хотел, как мальчишка, пройтись колесом, но, не закончив фигуры, повалился на траву. Шпага вылетела у него из руки и полетела, словно падающая звезда, в поникшую воду, а сам он с

такой силой ударился о землю, что сломал своим телом большой розовый куст, подняв в воздух облако красной пыли, словно дым от курений на языческом алтаре. Сицилиец принес кровавую жертву духу своего отца.

Священник упал на колени у бездыханного тела, однако сомнений не было: граф и вправду был мертв. В то время как Браун пытался, без всякой на то надежды, применить какие-то последние, отчаянные средства, с реки наконец-то послышались голоса, и он увидел, как к причалу подлетел полицейский катер с констеблями и прочими немаловажными лицами, среди которых был и взволнованный Поль. Маленький священник поднялся с гримасой недоумения, которую он и не пытался скрыть.

– Почему, – пробормотал он, – почему он не появился раньше?

Через каких-нибудь семь минут островок заполнили горожане и полицейские; последние взяли под стражу победоносного дуэлянта, с ритуальной торжественностью напомнив ему, что все, что он скажет, может быть использовано против него.

– Я ничего не скажу, – ответил этот одержимый с сияющим, просветленным лицом. – Я больше ничего никогда не скажу. Я очень счастлив, и я хочу только, чтобы меня повесили.

Он замолчал, и его увели, и, как ни странно, он и вправду в этой жизни ничего больше не сказал, за исключением одного слова на суде, и слово это было: «Виновен».

Отец Браун недвижно взирал на то, как внезапно сад наполнился людьми, как арестовали мстителя, как унесли покойного, когда врач удостоверил смерть, – словно в страшном сне, он не мог пошевелить и пальцем. Он сообщил свое имя и адрес полицейским, но отклонил предложение вернуться вместе с ними в город, – и остался один в саду, глядя на сломанный розовый куст и на зеленую площадку, на которой столь быстро разыгралась эта таинственная трагедия. На реке померкли отблески вечерней зари; с лугов поднялся туман; несколько запоздалых птиц поспешно пролетели на тот берег.

В подсознании Брауна (необычайно активном подсознании) крылась уверенность в том, что во всей этой истории осталось что-то невыясненное. Чувство это, которое он не мог выразить словами, но которое преследовало его весь день, невозможно было объяснить одной лишь фантазией о «зеркальном царстве». То, что он видел, не было реальностью, это был спектакль, игра. Но разве люди идут на виселицу или дают проткнуть себя шпагой ради шарады?

Он размышлял о случившемся, сидя на ступеньках причала, как вдруг увидел длинную тень паруса, бесшумно скользившего по сверкающей реке, и вскочил на ноги с таким внезапно затопившим его чувством, что слезы чуть не брызнули у него из глаз.

– Фламбо! – вскричал он, как только Фламбо сошел со своими удочками на берег, и бросился жать ему руки, чем привел того в величайшее удивление. – Фламбо, так, значит, вас не убили?

– Убили? – отвечал тот с нескрываемым удивлением. – А почему меня должны были убить?

– Ах, потому хотя бы, что убили почти всех остальных, – отвечал Браун, словно в бреду. – Сарадина закололи, Антонелли хочет, чтобы его повесили, его мать без сознания, а что до меня, так я просто не пойму, где я – на том свете или на этом. Но, слава Богу, где бы я ни был, вы со мной!

И он взял озадаченного Фламбо под руку.

От причала они свернули к дому и, проходя под низко нависшим карнизом крыши, заглянули, как и в первый раз, в одно из окон. Глазам их открылась залитая светом ламп сцена, словно рассчитанная на то, чтобы привлечь их внимание. Стол в длинной зале был накрыт к обеду, когда убийца Сарадина явился словно гром среди ясного неба на остров. Сейчас здесь спокойно обедали: в конце стола расположилась чем-то недовольная миссис Антони, а напро-

тив, во главе стола восседал мистер Поль, графский *major domo*²¹, – он смаковал изысканные кушанья и вина, его потускневшие голубые глаза как-то странно светились, а длинное лицо было непроницаемым, но не лишено удовлетворения.

Фламбо забарабанил по стеклу, рванул на себя раму и с возмущением заглянул в ярко освещенную залу.

– Это уж слишком! – воскликнул он. – Вполне допускаю, что вам захотелось подкрепиться, но, знаете ли, украсть обед своего господина в то время, как он лежит бездыханный в саду...

– В своей долгой и не лишенной приятности жизни я совершил много краж, – невозмутимо отвечал мистер Поль. – Этот обед – одно из немногих исключений. Он не украден. Так же, как и этот сад, и дом, он по праву принадлежит мне.

В глазах Фламбо мелькнула догадка.

– Вы, верно, хотите сказать, – начал он, – что в завещании графа Сарадина...

– Граф Сарадин – это я, – сказал старик, дожевывая соленую миндальную.

Отец Браун, который в эту минуту разглядывал птиц в саду, подпрыгнул, словно подстреленный, и сунул в окно свое бледное лицо, похожее на репу.

– Кто? – спросил он пронзительно.

– Граф Поль Сарадин, а *votre service*²², – отвечал тот учтиво, подымая бокал с вином. – Я живу здесь чрезвычайно уединенно, так как по природе я домосед; называюсь из скромности мистер Поль, в отличие от своего злосчастного брата Стефана. Говорят, он только что умер в саду. Разумеется, это не моя вина, если враги гонятся за ним до самого дома. А все из-за прискорбной рассеянности его жизни. Он никогда не был домоседом.

Он погрузился в молчание, уставившись в противоположную стену прямо над мрачно склоненной головой миссис Антони. Тут им впервые открылось семейное сходство, так поразившее их в умершем. Внезапно плечи старого Сарадина дрогнули и заколыхались, словно он чем-то подавился, хотя лицо и оставалось по-прежнему бесстрастным.

– Боже! – воскликнул Фламбо, помолчав. – Да ведь он смеется!

– Пойдемте, – сказал побледневший как полотно отец Браун. – Пойдемте из этого приюта греха. Вернемся в наш честный ялик.

Мгла окутала камни и реку, когда ялик отошел от острова; в темноте они плыли вниз по течению, согреваясь двумя огромными сигарами, пламеневшими, словно два багровых фонаря на корме. Отец Браун вынул сигару изо рта и произнес:

– Верно, вы уже разгадали всю эту историю? Ведь она достаточно проста. У человека было два врага. Он был человеком умным. И потому он сообразил, что два врага лучше, чем один.

– Я не совсем понимаю, – ответил Фламбо.

– О, это очень просто, – сказал его друг. – Просто, хоть и совсем не невинно. И тот, и другой – мерзавцы, но граф, старший из братьев, принадлежит к тем мерзавцам, что одерживают победу, а младший – к тем, что идут на дно. Этот бесчестный офицер сначала выпрашивал подачки у своего брата, а потом стал шантажировать его, и в один далеко не прекрасный день граф попался ему в руки. Дело, конечно, было не пустячное, ибо Поль Сарадин не скрывал своих походов, – репутации его не могло повредить ни одно из обычных светских прегрешений. Иными словами, за это дело он мог попасть и на виселицу, и Стефан буквально накинул веревку на шею брата. Каким-то образом ему удалось узнать правду о той сицилийской истории, – он, видно, мог доказать, что Поль убил старшего Антонелли, заманив его в горы.

²¹ *Major domo* – управляющий (*ит.*).

²² *A votre service*. – В вашем распоряжении (*фр.*).

Десять лет капитан сорил деньгами, получаемыми за молчание, пока даже огромное состояние графа не стало стремительно таять.

Но, помимо брата-кровопийцы, у графа Сарадина было и другое бремя. Он знал, что сына Антонелли, который был ребенком во время убийства, взрастили в свирепых сицилийских традициях и что он жил одной мыслью: отомстить убийце своего отца – не виселицей (у него, в отличие от Стефана, не было доказательств), но испытанным оружием вендетты. Мальчик занимался фехтованием, пока не овладел этим смертельным искусством в совершенстве; когда он достаточно вырос, чтобы применить шпагу на деле, графом Сарадином, как писали светские газеты, овладела страсть к путешествиям. На деле он просто спасал свою жизнь: словно преступник, за которым гонится полиция, он поменял десятки мест; но неутомимый юноша всюду следовал за ним. Таково было положение, в котором находился граф Сарадин, положение, далеко не веселое. Чем больше денег тратил он на то, чтобы скрыться от Антонелли, тем меньше оставалось на то, чтобы платить за молчание Стефану. Чем больше отдавал он Стефану, тем меньше шансов оставалось у него избежать неминуемой встречи с Антонелли. Тут он показал себя великим человеком – гением, подобным Наполеону.

Вместо того чтобы продолжать борьбу с двумя врагами, он внезапно сдался обоим. Он отступил, словно в японской борьбе, и неприятели пали перед ним. Он объявил о своем намерении прекратить бегство, объявил свой адрес юному Антонелли, а затем объявил, что отдает все, чем владеет, брату. Он отправил Стефану сумму, достаточную для проезда и для того, чтобы обзавестись порядочным гардеробом, и письмо, в котором говорилось примерно следующее: «Вот все, что у меня осталось. Ты начисто меня обобрал. Но в Норфолке у меня есть небольшой дом со слугами и винным погребом; если ты на что-нибудь еще претендуешь, возьми этот дом. Если хочешь, приезжай и вступи во владение, а я буду скромно жить при тебе как друг, как управляющий или еще как-то». Он знал, что сицилиец никогда не видел ни одного из них, разве что на фотографиях; знал он также и то, что они с братом похожи, у обоих были седые эспаньолки. Затем он начисто обрил подбородок и принялся ждать. Капкан сработал. Злосчастный капитан в новом, с иголки, наряде торжественно вступил в дом в качестве графа Сарадина – и накололся на шпагу сицилийца.

Во всем этом плане было только одно непродуманное обстоятельство, и оно делает честь человеческой природе. Злые духи, подобно Сарадину, часто ошибаются, ибо они всегда забывают о людских добродетелях. Он и не думал сомневаться в том, что месть итальянца, подобно свершенному им преступлению, будет безжалостной, безымянной и тайной, что жертва падет бессловесно – либо от ночного удара ножом, либо от выстрела из-за угла. Когда же рыцарственный Антонелли предложил дуэль с соблюдением всех правил, что могло повлечь за собой разоблачение, графу Полю стало страшно. Тогда-то я и увидел, как он с расширенными от ужаса глазами отчаливает в своем челноке от берега. Он просто бежал, как был, простоволосый, в жалкой лодчонке, в страхе, что Антонелли узнает, кто он.

Но, несмотря на свое волнение, он не до конца потерял надежду. На своем веку он знал достаточно авантюристов и достаточно фанатиков. Вполне возможно, думал он, что авантюрист Стефан будет держать язык за зубами – из чисто актерского азарта, из желания сохранить свой новый уютный дом, из веры подлеца в удачу и в свое фехтовальное искусство. Ну а фанатик Антонелли, конечно, будет держать язык за зубами и так и пойдет на виселицу, не сказав ни слова о семейной тайне. Поль медлил в лодке на реке до тех пор, пока не понял, что дуэль окончена. Тогда он поднял на ноги весь город, вернулся с полицейскими, увидел, как два его поверженных врага навеки исчезли из его жизни, и уселся обедать с улыбкой на устах.

– С улыбкой? Да он смеялся! – воскликнул Фламбо, содрогаюсь. – Кто ему подал такую идею? Сам дьявол, должно быть!

– Эту идею подали ему вы, – отвечал священник.

– Боже сохрани! – вскричал Фламбо. – Я? Что вы хотите этим сказать?

Священник вынул из кармана визитную карточку и поднес ее к мерцающему огню сигары – она была написана зелеными чернилами.

– Разве вы забыли его необычное приглашение? – спросил он – И похвалы вашему преступному подвигу? «Остроумие, с которым вы заставили одного сыщика арестовать другого», – пишет он. Да он просто повторил ваш прием. Когда враги стали наступать на него с двух сторон, он быстро сделал шаг назад, а они столкнулись и уничтожили друг друга.

Фламбо вырвал визитную карточку Сарадина из рук священника и с яростью изорвал ее в мелкие клочки.

– Покончим с этим старым бандитом, – воскликнул он, швыряя клочки бумаги в темные волны реки, которые были еле видны в темноте. – Однако как бы рыбы от этого не сталидохнуть.

Последний клочок белой бумаги, исписанной зелеными чернилами, мелькнул и исчез; слабый, дрожащий свет окрасил, словно напоминая о рассвете, небо, и луна за высокими травами побледнела. Они плыли в молчании.

– Отец, – внезапно спросил Фламбо, – как по-вашему, это был сон?

Священник покачал головой, то ли в знак отрицания, то ли сомнения, но промолчал. Из темноты к ним долетело благоухание боярышника и фруктовых садов, поднимался ветер; он качнул суденышко, наполнил парус и понес их вперед по изгибам реки к местам посчастливее, где живут безобидные люди.

Молот Господень

Пер. В. Муравьева

Деревенька Боэн Бикон пристроилась на крутом откосе, и высокий церковный шпиль торчал, как верхушка скалы. У самой церкви стояла кузница, обычно пышущая огнем, вокруг нее свалка всевозможных молотков и обрезков железа, а напротив – один на всю деревню кабак «Синий боров». На этом-то перекрестке в свинцово-серебряный рассветный час встретились два брата: один восстал ото сна, а другой еще не ложился. Преподобный и досточтимый Уилфрид Боэн был человек набожный и шел предаться молитве и созерцанию. Его старшему брату, достопочтенному полковнику Норману Боэну, было не до набожности: он сидел в смокинге на лавочке возле «Синего борова» и выпивал не то напоследок, не то для начала – это уж как на чей философский взгляд. Сам полковник в такие тонкости не вдавался.

Боэны были настоящие, древние аристократы крови, и предки их и вправду воевали в Палестине. Только не нужно думать, что рыцарями рождаются. Рыцарство – удел бедняков. Знати благородные заветы нипочем, их дело – мода. Боэны были элегантными бандитами при королеве Анне и жеманными вертопрахами при королеве Виктории. Словом, они, по примеру других знатных родов, за последние два столетия стали порослью пропойц и щеголеватых ублюдков, а был такой шепоток, что и вовсе посвихивались. И то сказать, полковник был сластолюбив не по-людски, а скорее по-волчьи: он без устали рыскал по ночам, одержимый какой-то гнусной бессонницей. У этого крупного, породистого пожилого животного были светло-желтые волосы, не тронутые сединой. Его бы назвать белокурым, с львиной осанкой; только синие глаза его запали так глубоко, что стали черными шелками. К тому же они были чересчур близко посажены. Его висячие желтые усы были очерчены косыми складками от ноздрей к подбородку: ухмылка словно врезана в лицо. Поверх смокинга он натянул светлое халатообразное пальто, а странную широкополую шляпу ярко-зеленого цвета и какого-то восточного вида сбил на затылок. Он любил красоваться в нелепых нарядах, тем более что они всегда ему шли.

Брат его, как и он, желтоволосый и хранивший аристократическую осанку, был в своем черном облачении, застегнут наглухо и свежевыбрит; в его тонком лице сквозила нервозность. Он словно бы только и жил что своей религией; но говорили о нем (особенно сектант-кузнец), что не Бог ему нужен, а старинная архитектура, потому-то он, мол, и бродит по церкви призраком, что церковь ему – все равно что брату вино и женщины, та же заразная прелесть, только что изысканная, а в общем, одно и то же. Мало ли что говорили, но набожность его все-таки была неподдельная. Надо думать, что людям попросту невдомек была его тяга к уединению и молитве, странно было вечно видеть его на коленях – и не то что пред алтарем, а где-нибудь на хорах, галереях или вовсе на колокольне. Он как раз и шел в храм задним двором кузницы, но остановился и нахмурился, увидев, куда исподлобья поглядывает брат. Не на церковь, конечно, – это и думать было нечего. Стало быть, на кузницу, и хотя кузнец-пресвитеринин со своей сектантской религией был не из его паствы, все же Уилфрид Боэн слышал про его красавицу жену много разных историй и не мог пройти мимо. Он посмотрел, нет ли кого за сараем, а полковник встал и рассмеялся.

– Доброе утро, Уилфрид, – сказал он. – Народ мой спит, а я, видишь, на ногах, как и подобает помещику. Вот кузнеца хочу навестить.

Уилфрид опустил взгляд и сказал:

– Кузнеца нет. Он ушел в Гринфорд.

– Знаю, – беззвучно хохотнул полковник. – Визит ко времени.

– Норман, – сказал священник, упершись взглядом в дорожный гравий, – а ты грома небесного не боишься?

– Грома? – переспросил тот. – Ты что, у нас теперь погоду предсказываешь?

– Да нет, – сказал Уилфрид, не поднимая глаз, – не погоду, а как бы тебя громом не поразило.

– Ах, прошу прощения, – сказал полковник. – Я и забыл, ты ведь у нас сказочник.

– А ты у нас, конечно, богохульник, – отрезал задетый за живое священнослужитель. – Что ж, Бога не боишься, так хотя человека остерегись.

Старший брат вежливо поднял брови.

– Какого то есть человека? – спросил он.

– На сорок миль в округе, – жестко сказал священник, – некому тягаться силой с кузнецом Барнсом. Я знаю, ты не из трусливых и за себя постоять можешь, только смотри, плохо тебе придется.

Это были отнюдь не пустые слова, и складки у рта полковника обозначились резче. Его вечная ухмылка стала угрюмой. Но он тут же снова обрел свою свирепую веселость и рассмеялся, оскалив из-под желтых усов крепкие песьи клыки.

– Ты прав, любезный Уилфрид, – беспечно сказал он, – так порадуйся же, что последний мужчина в нашем роду надел кое-какой ратный доспех.

Он снял свою нелепую шляпу, и ее круглая тулья оказалась легким стальным шлемом в зеленой обшивке, китайским, не то японским. Уилфрид узнал фамильный трофей со стены гостиной.

– Какая подвернулась, – небрежно пояснил брат. – У меня со шляпами так же, как и с женщинами.

– Сейчас кузнец в Гринфорде, – тихо сказал Уилфрид, – но вернуться может в любую минуту.

Он побрел в церковь, склонив голову и крестясь, словно отгоняя нечистого духа. Скорей бы забыть об этой мерзости в прохладном сумраке, под готическими сводами; но в то утро все шло не по-обычному, всюду что-нибудь подстерегало. В такой час церковь всегда была пуста, а тут вдруг кто-то в глубине вскочил с колен и заспешил из полутьмы на залитую светом паперть. Священник едва поверил глазам: этот ранний богомолец был деревенский идиот, племянник кузнеца, и ему явно нечего было делать в церкви, как и вообще на белом свете. Жил он без имени, с прозвищем Джо-дурачок; это был дюжий мальчик, сутулый и чернявый, лицо теляное, рот вечно разинут. Он прошагал мимо священника, и по его дурацкой физиономии никак нельзя было понять, что он делал, о чем думал в церкви. В жизни его никто здесь не видел. Что у него могли быть за молитвы? Даже представить себе трудно.

Уилфрид Бозн стоял неподвижно и глядел, как идиот вышел на солнце, потом, как его беспутный брат приветствовал дурачка с издевательским дружелюбием, наконец, как полковник принялся швырять медяки в разинутый рот Джо и, кажется, в самом деле примерялся попасть.

От этой яркой уродливой картины земной глупости и грубости он обратился к молитве об очищении своей души и обновлении помыслов. Он углубился в галерею и прошел к любимому цветному витражу с белым ангелом, несущим лилии; этот витраж всегда проливал покой в его душу. Здесь перед его глазами постепенно померкло одутловатое лицо слабоумного с разинутым по-рыбий ротом. Здесь он постепенно отвлекся от мыслей о нераскаянном брате, который метался, как зверь за решеткой, снедаемый скотской похотью.

Там его через полчаса и нашел деревенский сапожник Гиббс, наспех посланный за ним. Он быстро поднялся с колен: он знал, что Гиббс не явился бы ни с того ни с сего. Как во многих деревнях, здешний сапожник в Бога не верил и в церкви бывал не чаще дурачка Джо. Дурачок еще мог забрести невзначай, но появление сапожника сбило бы с толку любого богослова.

– В чем дело? – довольно строго спросил Уилфрид Бозн и встревоженно потянулся за шляпой.

Местный безбожник ответил на удивление уважительно, с какой-то даже смутной симпатией.

– Уж не взыщите, сэр, – сказал он хрипловатым полупшепотом, – но мы решили вас потревожить, тут, в общем, довольно жуткое дело приключилось. Ваш, в общем, брат...

Уилфрид с хрустом стиснул руки.

– Ну, что он еще натворил? – почти выкрикнул он.

– Да как бы вам сказать, сэр, – кашлянув, сказал сапожник. – Он, в общем-то, ничего такого не сделал... и уж не сделает. Вообще-то, он мертвый. Надо бы вам туда пойти, сэр.

Уилфрид спустился следом за сапожником по короткой винтовой лестнице к боковому выходу на пригорок над улицей. Отсюда все было видно как на ладони. Человек пять-шесть стояли во дворе кузницы, почти все в черном, и среди них полицейский инспектор. Был там доктор, был пресвитер и патер из окрестной католической церкви, куда ходила жена кузнеца. Сама она, статная, золотисто-рыжая женщина, заходила от плача на лавочке, а патер ей что-то вполголоса быстро втолковывал. Посредине, возле груды молотков, простерся ничком труп в смокинге. Уилфрид с первого взгляда узнал все, вплоть до фамильных перстней на пальцах; но вместо головы был кровавый сгусток, запекшийся черно-алой звездой.

Уилфрид Боэн, не мешкая, кинулся вниз по ступенькам. Доктор был их семейным врачом, но Уилфрид не ответил на его поклон. Он еле выговорил:

– Брата убили. Что здесь было? Как ужасно, как непонятно...

Все неловко молчали, и только сапожник высказался с обычной прямоотой:

– Ужасно – это да, сэр, только чего тут непонятного, все понятно.

– Что понятно? – спросил Уилфрид, и лицо его побелело.

– Куда уж яснее, – отвечал Гиббс. – На сорок миль в округе только одному под силу эдак пристукнуть человека. А почему пристукнул – опять же ясно.

– Не будем судить раньше времени, – нервно перебил его высокий чернобородый доктор. – Впрочем, что касается удара, то мистер Гиббс прав – удар поразительный. Мистер Гиббс говорит, что это только одному под силу. Я бы сказал, что это никому не под силу.

Тщедушный священник вздрогнул от суеверного ужаса.

– Не совсем понимаю, – сказал он.

– Мистер Боэн, – вполголоса сказал доктор, – извините за такое сравнение, но череп попросту раскололся, как яичная скорлупа. И осколки врезались в тело и в землю, словно шрапнель. Это удар исполина.

Он чуть помолчал, выразительно поглядел сквозь очки и добавил:

– Хотя бы лишних подозрений быть не может. Обвинять в этом преступлении меня или вас, вообще любого заурядного человека – все равно что думать, будто ребенок утащил мраморную колонну.

– А я что говорю? – поддакнул сапожник. – Я и говорю, что кто пристукнул, тот и пристукнул. А где кузнец Симеон Барнс?

– Но он же в Гринфорде, – выдавил священник.

– Если не во Франции, – буркнул сапожник.

– Нет, он и не в Гринфорде, и не во Франции, – раздался нудный голосок, и коротышка патер подошел к ним. – Собственно говоря, вон он идет сюда.

На толстенького патера, на его невзрачную физиономию и темно-русые, дурно обстриженные волосы и так-то особенно глядеть было незачем, но тут уж никто бы на него не поглядел, будь он хоть прекрасней Аполлона. Все как один повернулись и уставились на дорогу, которая вилась через поле по склону и по которой в самом деле вышагивал кузнец Симеон с молотом на плече. Был он широченный, ширококостый, темная борода клином, темный взгляд исподлобья. Он неспешно беседовал с двумя своими спутниками; веселым его вообще не видели, и сейчас он был не мрачнее обычного.

– Господи! – вырвалось у неверующего сапожника. – И с тем же самым молотом!

– Нет, – вдруг промолвил инспектор, рыжеусый человек смышленного вида, – тот самый – вон там, у церковной стены. Лежит как лежал, мы не трогали ни труп, ни молоток.

Все обернулись к церкви, а низенький патер сделал несколько шагов и, склонившись, молча оглядел орудие убийства. Это был совсем неприметный железный молоточек, только на окровавленной насадке желтел налипший клочок волос.

Потом он заговорил, и тусклый голосок его словно бы немного оживился:

– Мистер Гиббс, пожалуй, зря думает, что здесь все понятно. Вот, например, как же это такой великан схватился за этакий молоточек?

– Было бы о чем говорить, – нетерпеливо отмахнулся Гиббс. – Чего зря стоим, вон Симеон Барнс!

– Вот и подождем, – ответил коротышка. – Он как раз сюда идет. Спутников его я знаю, они из Гринфорда, люди хорошие, пришли по своим пресвитерианским делам.

В это самое время рослый кузнец обогнул собор и оказался у себя на дворе. Тут он встал как вкопанный и обронил молот. Инспектор, сохраняя должную непроницаемость, сразу шагнул к нему.

– Не спрашиваю вас, мистер Барнс, – сказал он, – известно ли вам, что здесь произошло. Вы не обязаны отвечать. Надеюсь, что неизвестно и что вы сможете это доказать. А пока что я должен, как положено, арестовать вас именем короля по обвинению в убийстве полковника Нормана Боэна.

– Не обязан ты им ничего отвечать! – в восторге от законности подхватил сапожник. – Это они обязаны доказывать. А как они докажут, что это полковник Боэн, когда у него вместо головы невесть что?

– Ну, это уж слишком, – заметил доктор священнику-коротышке. – Это уж для детективного рассказа. Я лечил полковника и знал его тело вдоль и поперек лучше, чем он сам. У него были очень изящные и весьма странные руки. Указательный и средний пальцы одинаковой длины. Да нет, конечно же, это полковник.

Он посмотрел на труп с разможенным черепом; тяжелый взгляд неподвижного кузнеца обратился туда же.

– Полковник Боэн умер, – спокойно сказал он. – Стало быть, он в аду.

– Ты, главное дело, молчи! Пусть они говорят! – выкрикивал сапожник, приплясывая от восхищения перед английской законностью. Никто так не ценит закон, как завзятый безбожник.

Кузнец бросил ему через плечо с высокомерием фанатика:

– Это вам, нечестивцам, надо юлить по-лисьи, ибо ваш закон в мире сем. Господь сам хранит и сберегает верных своих, да узрите нынче воочию. – И, указав на мертвеца, добавил: – Когда этот пес умер во гресех своих?

– Выбирайте выражения, – сказал доктор.

– Я их выбираю из Библии. Когда он умер?

– Сегодня в шесть утра он был еще жив, – запинаясь, выговорил Уилфрид Боэн.

– Велика благодать Господня, – сказал кузнец. – Давайте, инспектор, забирайте меня на свою же голову. Мне-то что, меня по суду наверняка оправдают, а вот вас за такую службу наверняка не похвалят.

Степенный инспектор поглядел на кузнеца слегка озадаченно, как и все прочие, кроме чудака-священника, который все разглядывал смертоносный молоток.

– Вон там стоят двое, – веско продолжал кузнец, – два честных мастеровых из Гринфорда, да вы все их знаете. Они присягнут, что я никуда не отлучался с полуночи: у нас было собрание общины, и мы радели о спасении души всю ночь напролет. В самом Гринфорде найдется еще человек двадцать свидетелей. Был бы я язычник, мистер инспектор, я бы и глазом не моргнул

– пусть вам будет хуже. Но я христианин и обязан вас пожалеть, а потому сами решайте, когда хотите слушать моих свидетелей – сейчас или на суде.

Инспектор, видимо, озадачился всерьез и сказал:

– Разумеется, лучше бы отвести подозрения с самого начала.

Кузнец пошел со двора тем же ровным, широким шагом и привел своих друзей, и вправду всем хорошо знакомых. Много говорить им не пришлось. Через несколько слов невиновность Симеона была так же очевидна, как и громада храма.

Воцарилось то особое молчание, которое нестерпимей всяких слов. Чтобы сказать хоть что-нибудь, Уилфрид Боэн бессмысленно заметил католическому священнику:

– Вас явно очень занимает этот молоток, отец Браун.

– Да, очень, – сказал отец Браун. – Почему он такой маленький?

Доктор вдруг дернулся к нему.

– А ведь верно! – воскликнул он. – Кто возьмет такой молоток, когда кругом столько больших?

Он понизил голос и сказал на ухо Уилфриду:

– Тот, кому большой не с руки. Мужчины вовсе не тверже и не отважнее женщин. У них всего-навсего сильнее плечи. Отчаянная женщина запросто пришибет таким молотком десять человек, а тяжелым молотом ей и жука не убить.

Уилфрид Боэн в ужасе уставился на него, а отец Браун внимательно прислушивался, склонив голову набок. Врач продолжал еще тише и еще настойчивее:

– Какой идиот выдумал, что любовника ненавидит именно обманутый муж? В девяти случаях из десяти его ненавидит сама обманщица-жена. Почему знать, как он ее предал, как оскорбил? Взгляните!

Он коротким кивком указал на скамью, где сидела пышноволосяя рыжая женщина. Теперь она подняла голову, и слезы высохли на ее миловидном лице. Она не сводила взгляда с мертвеца, и в ее глазах был какой-то неистовый блеск.

Преподобный Уилфрид Боэн провел рукой перед глазами, словно заслоняясь, а отец Браун стряхнул с рукава хлопья золы, налетевшей из кузни, и занудил на свой лад.

– Вот ведь как оно выходит, – сказал он, – что у вас, что у других врачей: пока про душу – все очень складно, а как до тела дойдет, то ни в какие ворота. Спору нет, преступница всегда хочет убить сообщника, а потерпевший – не всегда. И нет спору, что женщине больше с руки молоток, чем молот. Все так. Только она никак не могла этого сделать. Ни одной женщине на свете не удастся эдак разнести череп молотком. – Он поразмыслил и продолжал: – Кое-что покамест и вообще в расчет не принято. Мертвец-то был в железном шлеме, и шлем разлетелся как стеклышко. И это, по-вашему, сделала вон та женщина, с ее-то ручками?

Они снова погрузились в молчание. Наконец доктор проворчал:

– Может, я и ошибаюсь: возражения в конце концов на все найдутся. Одно, по-моему, бесспорно: только идиот схватит молоточек, когда рядом валяется молот.

Уилфрид Боэн судорожно вскинул тощие руки ко лбу и взъерошил свои жидкие светлые волосы. Потом отдернул ладони от лица и вскрикнул:

– Слово, вы мне как раз подсказали слово! – Он продолжал, кое-как одолевая волнение: – Вы сказали: «Только идиот схватит молоточек».

– Ну да, – сказал доктор. – А что?

– Это и был идиот, – проговорил настоятель собора. Чувствуя, что к нему прикованы все взгляды, он продолжал чуть ли не истерично: – Я священник, – захлебывался он, – а священнику не пристало проливать кровь... То есть я... мы не вправе отправлять людей на виселицу. Слава Богу, я вот теперь понял, кто преступник, и слава Богу, казнь ему не грозит.

– То есть вы поняли и промолчите? – спросил доктор.

– Я не промолчу, нет; но его не повесят, – отвечал Уилфрид с какой-то блуждающей улыбкой. – Нынче утром я вошел в храм, а там молился наш дурачок, бедный Джо, он слабый от рождения. Бог знает, о чем он молился: у сумасшедших, у них ведь все наизусть, и молитвы, наверное, тоже. Помолитесь – и пойдет убивать. Я видел, как мой брат донимал беднягу Джо, издевался над ним.

– Так-так! – заинтересовался доктор. – Вот это уже разговор. Да, но как же вы объясните...

Уилфрид Боэн прямо трепетал – наконец-то для него все разъяснилось.

– Понимаете, понимаете, – волновался он, – ведь тогда долой все странности, обе загадки разрешаются! И маленький молоток, и страшный удар. Кузнец мог бы так ударить, но не этим же молотком. Жена взяла бы этот молоток, но где же ей так ударить? А если сумасшедший – то все понятно. Молоток он схватил, какой попался. А насчет силы... известно же, – правда, доктор? – что в припадке безумия силы удесятерятся.

– Ах, будь я проклят! – выдохнул доктор. – Да, ваша правда.

А отец Браун смотрел на Боэна долгим, пристальным взглядом, и стало заметно, как выделяются на его невзрачном лице большие круглые серые глаза. Он сказал вслед за доктором как-то особенно почтительно:

– Мистер Боэн, из всех объяснений только ваше сводит концы с концами. Потому-то я и скажу вам напрямик: оно неверное, и я это твердо знаю.

Затем чудной человек отошел в сторону и снова стал рассматривать молоток.

– Всезнайку из себя корчит, – сердито прошептал доктор Уилфриду. – Уж эти мне католические попы: хитрющий народ!

– Нет, нет, – твердил как заведенный Боэн. – Дурачок его убил. Дурачок его убил.

Два священника и доктор стояли в стороне от служителя закона и арестованного, и когда их разговор прервался, стал слышен зычный голос кузнеца:

– Ну, вроде мы с вами договорились, мистер инспектор. Сила у меня есть, это вы верно, только и мне не под силу зашвырнуть сюда молот из Гринфорда. Молот у меня без крыльев, как же он полетит за полмили над полями да околицами?

Инспектор дружелюбно рассмеялся и сказал:

– Нет, ваше дело чистое, хотя сходится все, конечно, на редкость. Попрошу вас только оказывать всяческое содействие в отыскании человека вашего роста и вашей силы. Да чего там! Хоть поможете его задержать. Сами-то вы ни на кого не подумали?

– Подумать подумал, – сурово сказал кузнец, – только виновника-то зря ищите. – Он заметил, что кое-кто испуганно поглядел на его жену, шагнул к скамейке и положил ручищу ей на плечо. – И виновницы не ищите.

– Кого же тогда искать? – ухмыльнулся инспектор. – Не корову же – где ей с молотком управиться?

– Не из плоти была рука с этим молотком, – глухо сказал кузнец, – по-вашему говоря, он сам умертвился.

Уилфрид подался к нему, и глаза его вспыхнули.

– Это как же, Барнс, – съязвил сапожник, – ты что же, думаешь, молот сам его пристукнул?

– Смейтесь и насмехайтесь, – выкрикнул кузнец, – смейтесь, священнослужители, даром что вы же по воскресеньям повествуете, как Господь сокрушил Сеннахирима²³. Он во всяком дому, и призрел мой дом, и поразил осквернителя на пороге его. Поразил с той самой силою, с какою Он сотрясает землю.

– Я сегодня грозил Норману громом небесным, – сдавленно проговорил Уилфрид.

²³ Господь сокрушил Сеннахирима. – 4 Кн. Царств, 19, 35–39. – Здесь и далее примеч. пер.

– Ну, этот подследственный не в моем ведении, – усмехнулся инспектор.

– Зато вы в Его ведении, – отрезал кузнец, – не забывайте об этом, – и пошел в дом, обратив к собравшимся могучую спину.

Потрясенного Уилфрида заботливо взял под руку отец Браун.

– Уйдемте куда-нибудь с этого страшного места, мистер Боэн, – говорил он. – Покажите мне, пожалуйста, вашу церковь. Я слышал, она чуть ли не самая древняя в Англии. А мы, знаете, – он шутливо подмигнул, – интересуемся древнеангликанскими церквями²⁴.

Шуток Уилфрид не ценил и шутить не умел, но показать церковь согласился охотно: он рад был поговорить о красотах готики с человеком, понимающим в ней все-таки побольше, чем сектант-кузнец и сапожник-атеист.

– Да-да, – сказал он, – пойдете, вот здесь.

Он повел отца Брауна к высокому боковому крыльцу, но едва тот поставил ногу на первую ступеньку, как кто-то взял его сзади за плечо. Отец Браун обернулся и оказался лицом к лицу с худым смуглым доктором, который глядел темно и подозрительно.

– Вот что, сэр, – резко сказал врач, – вид у вас такой, будто вы тут кое в чем разобрались. Вы что же, позвольте спросить, решили помалкивать про себя?

– Понимаете, доктор, – дружелюбно улыбнулся отец Браун, – есть ведь такое правило: не все знаешь – так и молчи, тем более что в нашем-то деле положено молчать, именно когда знаешь все. Но если вам кажется, что я обидел вас или не только вас своими недомолвками, то я, пожалуй, сделаю вам два очень прозрачных намека.

– Слушаю вас, – мрачно откликнулся врач.

– Во-первых, – сказал отец Браун, – это дело вполне по вашей части. Никакой мистики, сплошная наука. Кузнец не в том ошибся, что преступника настигла кара свыше, – это-то да, только уж никаким чудом здесь и не пахнет. Нет, доктор, никакого особого чуда здесь нет, разве что чудо – сам человек, его непостижимое, грешное, дерзновенное сердце. А череп-то раздробило самым естественным образом, по закону природы, ученые его на каждом шагу поминают.

Доктор пристально и хмуро глядел на него.

– Второй намек? – спросил он.

– Второй намек такой, – сказал отец Браун. – Помните: кузнец, он в чудеса-то верит, а сказок дурацких не любит – как, дескать, его молот полетит, раз он без крыльев?

– Да, – сказал доктор. – Это я помню.

– Так вот, – широко улыбнулся отец Браун, – эта дурацкая сказка ближе всего к правде. – И он засеменял по ступенькам вслед за настоятелем.

Уилфрид Боэн нетерпеливо подждал его, бледный до синевы, словно эта маленькая задержка его доконала; он сразу повел гостя в свою любимую галерею, под самый свод, в сияющую сень витража с ангелом. Маленький патер осматривал все подряд и всем неумолчно, хоть и негромко восхищался. Он обнаружил боковой выход на винтовую лестницу, по которой Уилфрид спешил вниз к телу брата; отец Браун, однако, с обезьяньей прытью кинулся не вниз, а наверх, и вскоре его голос донесся с верхней наружной площадки.

– Идите сюда, мистер Боэн, – позвал он. – Вам хорошо подышать воздухом!

Боэн поднялся и вышел на каменную галерею, балкончик, лепившийся у стены храма. Вокруг одинокого холма расстилалась бескрайняя равнина, усеянная деревьями и фермами; лиловый лес густел на горизонте. Далеко-далеко внизу рисовался четкий квадратик двора кузницы, где все еще что-то записывал инспектор и, как прибитая муха, валялся неубранный труп.

– Вроде карты мира, правда? – сказал отец Браун.

²⁴ ...мы... интересуемся древнеангликанскими церквями. – Древнеангликанских церквей быть не может – в Англии до конца 30-х годов XVI века существовало только католичество.

– Да, – очень серьезно согласился Боэн и кивнул.

Под ними и вокруг них готические стены рушились в пустоту, словно призывали к самоубийству. В средневековых зданиях есть такая исполинская ярость – на них отовсюду смотришь, как на круп бешено мчащейся лошади. Собор составляли древние, суровые камни, поросшие лишайниками и облепленные птичьими гнездами. И все же внизу казалось, что стены фонтаном взмывают к небесам, а оттуда, сверху, – что они водопадом низвергаются в звенящую бездну. Два человека на башне были пленниками неимоверной готической жути: все смещено и сплющено, перспектива сдвинута, большое уменьшено, маленькое увеличено – окаменелый мир наизнанку, повисший в воздухе. Громадные каменные завитки – и мелкий рисунок крохотных ферм и лугов. Изваяния птиц и зверей, словно драконы, парящие или ползущие над полями и селами. Все было страшно и невероятно, будто они стояли между гигантских крыл парящего над землей чудища. Старая соборная церковь надвинулась на солнечную долину, как грозовая туча.

– По-моему, на такой высоте и молиться-то опасно, – сказал отец Браун. – Глядеть надо снизу вверх, а не сверху вниз.

– Вы думаете, здесь так уж опасно? – спросил Уилфрид.

– Я думаю, отсюда опасно падать – упасть ведь может не тело, а душа, – ответил маленький патер.

– Я что-то вас не очень понимаю, – пробормотал Уилфрид.

– Взять хоть того же кузнеца, – невозмутимо сказал отец Браун. – Хороший человек, жаль, не христианин. Вера у него шотландская²⁵ – так веровали те, кто молился на холмах и скалах и смотрел вниз, на землю, чаще, чем на небеса. А величие – дитя смирения. Большое видно с равнины, а с высоты все кажется пустяками.

– Но ведь он, он не убийца, – выговорил Боэн.

– Нет, – странным голосом сказал отец Браун, – мы знаем, что убийца не он.

Он помолчал и продолжил, светло-серые глаза его были устремлены вдаль.

– Я знал человека, – сказал он, – который сперва молился со всеми у алтаря, а потом стал подниматься все выше и молиться в одиночку – в уголках, галереях, на колокольне или у шпиля. Мир вращался, как колесо, а он стоял над миром: у него закружилась голова, и он возомнил себя Богом. Хороший он был человек, но впал в большой грех.

Уилфрид глядел в сторону, но его худые руки, вцепившиеся в парапет, стали иссиня-белыми.

– Он решил, что ему дано судить мир и карать грешников. Если б он стоял внизу, на коленях, рядом с другими – ему бы это и в голову не пришло. Но он глядел сверху – и люди казались ему насекомыми. Ползало там одно ярко-зеленое, особенно мерзкое и назойливое, да к тому же и ядовитое.

Стояла тишина, только грачи кричали у колокольни; и снова послышался голос отца Брауна:

– К вящему искушению во власти его оказался самый страшный механизм природы – сила, с бешеной быстротой притягивающая все земное к земному лону. Смотрите, вон прямо под нами расхаживает инспектор. Если я кину отсюда камушек, камушек ударит в него пулей. Если я оброну молоток... или молоточек...

Уилфрид Боэн перекинул ногу через парапет, но отец Браун оттянул его назад за воротник.

– Нет, – сказал он. – Это выход в ад²⁶.

Боэн попятился и припал к стене, в ужасе глядя на него.

²⁵ Вера у него шотландская. – Речь идет о пресвитерианстве.

²⁶ Это выход в ад. – Самоубийство считается одним из тягчайших грехов для христианина.

– Откуда вы все это знаете? – крикнул он. – Ты дьявол?

– Я человек, – строго ответил отец Браун, – и значит, вместилище всех дьяволов. – Он помолчал. – Я знаю, что вы сделали – вернее, догадываюсь почти обо всем. Поговорив с братом, вы разгорелись гневом – не скажу, что неправедным, – и схватили молоток, почти готовые убить его за его гнусные слова. Но вы отпрянули перед убийством, сунули молоток за пазуху и бросились в церковь. Вы отчаянно молились – у окна с ангелом, потом еще выше, еще и потом здесь – и отсюда увидели, как внизу шляпа полковника ползает зеленой тлей. В душе вашей что-то надломилось, и вы обрушили на него гром небесный.

Уилфрид прижал ко лбу дрожащую руку и тихо спросил:

– Откуда вы знаете про зеленую тлю?

По лицу отца Брауна мелькнула тень улыбки.

– Да это как-то само собой понятно, – сказал он. – Слушайте дальше. Мне все известно, но никто другой не узнает ничего, вам самому решать, я отступаюсь и сохранию эту тайну, как тайну исповеди. Тому много причин, и лишь одна вас касается. Решайте, ибо вы еще не стали настоящим убийцей, не закоснели во зле. Вы боялись, что обвинят кузнеца, боялись, что обвинят его жену. Вы попробовали свалить все на слабоумного, зная, что ему ничто не грозит. Мое дело замечать такие проблески света в душе убийцы. Спускайтесь в деревню и поступайте как знаете; я сказал вам свое последнее слово.

Они в молчании спустились по винтовой лестнице и вышли на солнце к кузнице. Уилфрид Боэн аккуратно отодвинул засов деревянной калитки, подошел к инспектору и сказал:

– Прошу вас арестовать меня. Брата убил я²⁷.

²⁷ *Брата убил я.* – Ср. библейский текст о братоубийстве Каина (Быт., 5, 4, 9), а также слова Исава: «И я убью Иакова, брата моего» (Быт., 27, 41).

Око Аполлона

Пер. Н. Трауберг

Таинственная спутница Темзы, искрящаяся дымка, и плотная, и прозрачная сразу, светлела и сверкала все больше по мере того, как солнце поднималось над Вестминстером, а два человека шли по Вестминстерскому мосту. Один был высокий, другой – низенький, и мы, повинувшись причуде фантазии, могли бы сравнить их с гордой башней парламента и со смиренным, сутулым аббатством, тем более что низкорослый был в сутане. На языке же документов высокий звался Эркюлем Фламбо, занимался частным сыском и направлялся в свою новую контору, расположенную в новом многоквартирном доме напротив аббатства; а маленький звался отцом Дж. Брауном²⁸, служил в церкви Св. Франциска Ксаверия²⁹ и, причастив умирающего, прибыл из Камберуэла, чтобы посмотреть контору своего друга.

Дом, где она помещалась, был высок, словно американский небоскреб, и по-американски оснащен безотказными лифтами и телефонами. Его только что достроили, заняты были три квартиры – над Фламбо, под Фламбо и его собственная; два верхних и три нижних этажа еще пустовали. Но тот, кто смотрел впервые на свежестроенную башню, удивлялся не этому. Леса почти совсем убрали, и на голой стене, прямо над окнами Фламбо, сверкал огромный, окна в три, золоченый глаз, окруженный золотыми лучами.

– Господи, что это? – спросил отец Браун и остановился.

– А, это новая вера! – засмеялся Фламбо. – Из тех, что отпускают нам грехи, потому что мы вообще безгрешны. Что-то вроде «Христианской науки». Надо мной живет некий Калон (это он себя так называет, фамилий таких нет!). Внизу, подо мной, – две машинистки, а наверху – этот бойкий краснобай. Он, видите ли, новый жрец Аполлона, солнцу поклоняется.

– Посмотрим на него, посмотрим... – сказал отец Браун. – Солнце было самым жестоким божеством. А что это за страшный глаз?

– Насколько я понял, – отвечал Фламбо, – у них такая теория. Крепкий духом вынесет что угодно. Символы их – солнце и огромный глаз. Они говорят, что истинно здоровый человек может прямо смотреть на солнце.

– Здоровому человеку, – заметил отец Браун, – это и в голову не придет.

– Ну, я что знал, то сказал, – беспечно откликнулся Фламбо. – Конечно, они считают, что их вера лечит все болезни тела.

– А лечит она единственную болезнь духа? – серьезно и взволнованно спросил отец Браун.

– Что же это за болезнь? – улыбнулся Фламбо.

– Уверенность в собственном здоровье, – ответил священник.

Тихая маленькая контора больше привлекала Фламбо, чем сверкающее святилище. Как все южане, он отличался здравомыслием, вообразить себя мог лишь католиком или атеистом и к новым религиям – победным ли, призрачным ли – склонности не питал. Зато он питал склонность к людям, особенно – к красивым, а дамы, поселившиеся внизу, были еще и своеобразны. Там жили две сестры, обе – худые и темноволосые, одна к тому же – высокая ростом и прекрасная лицом. Профиль у нее был четкий, орлиный; таких, как она, всегда вспоминаешь в профиль, словно они отточенным клинком прорезают путь сквозь жизнь. Глаза ее сверкали скорее стальным, чем алмазным блеском, и держалась она прямо, так прямо, что, несмотря

²⁸ ...звался... Дж. Брауном. – Единственный намек на имя отца Брауна. Предполагается, что имя это «Джон», по аналогии с прототипом Брауна, отцом Джоном О'Коннором. – *Здесь и далее примеч. пер.*

²⁹ Св. Франциск Ксаверий (1506–1552) – крупнейший миссионер иезуитского ордена; Честертон посвятил ему стихотворение, отмеченное в школе Сент-Полз Милтоновской премией.

на худобу, изящной не была. Младшая сестра, ее укороченная тень, казалась тусклее, бледнее и незаметней. Обе носили строгие черные платья с мужскими манжетами и воротничками. В лондонских конторах – тысячи таких резковатых, энергичных женщин; но этих отличало не внешнее, известное всем, а истинное их положение.

Полина Стэси, старшая сестра, унаследовала герб, земли и очень много денег. Она росла в садах и замках, но, по холодной пылкости чувств, присущей современным женщинам, избрала иную, высшую, нелегкую жизнь. От денег она, однако, не отказалась – этот жест, достойный монахов и романтиков, претил ее трезвой деловитости. Деньги были ей нужны, чтобы служить обществу. Она открыла контору – как бы зародыш образцового машинного бюро, а остальное раздала лигам и комитетам, борющимся за то, чтобы женщины занимались именно такой работой. Никто не знал, в какой мере младшая, Джоан, разделяет этот несколько деловитый идеализм. Во всяком случае, за своей сестрой и начальницей она шла с собачьей преданностью, более приятной все же, чем твердость и бодрость старшей, и даже немного трагичной. Полина Стэси трагедий не знала; по-видимому, ей казалось, что их и не бывает.

Когда Фламбо встретил свою соседку впервые, сухая ее стремительность и холодный пыл сильно его позабавили. Он ждал внизу лифтера, который развозил жильцов по этажам. Но девушка с соколиными глазами ждать не пожелала. Она резко сообщила, что сама разбирается в лифтах и не зависит от мальчишек, а кстати – и от мужчин. Жила она невысоко, но за считанные секунды довольно полно ознакомила сыщика со своими воззрениями, сводившимися к тому, что она – современная деловая женщина и любит современную, дельную технику. Ее черные глаза сверкали холодным гневом, когда она помянула тех, кто науку не ценит и вздыхает по ушедшей романтике. Каждый, говорила она, должен управлять любой машиной, как она управляет лифтом. Она чуть не вспыхнула, когда Фламбо открыл перед ней дверцу; а он поднялся к себе, вспоминая с улыбкой о такой взрывчатой самостоятельности.

Действительно, нрав у нее был пылкий, властный, раздражительный, и худые тонкие руки двигались так резко, словно она собиралась все разрушить. Как-то Фламбо зашел к ней, хотел что-то напечатать и увидел, что она швырнула на пол сестрины очки и давит их ногой. При этом она обличала «дурацкую медицину» и слабых, жалких людей, которые ей поддаются. Она кричала, чтобы сестра и не думала больше таскать домой всякую дрянь. Она вопрошала, не завести ли ей парик, или деревянную ногу, или стеклянный глаз; и собственные ее глаза сверкали стеклянным блеском.

Пораженный такой нетерпимостью, Фламбо не удержался и, рассудительный, как все французы, спросил ее, почему очки – признак слабости, а лифт – признак силы. Если наука вправе помогать нам, почему ей не помочь и на сей раз?

– Что тут общего! – надменно ответила Полина. – Да, мсье Фламбо, машины и моторы – признак силы. Техника пожирает пространство и презирает время. Все мы овладеваем ею. Это возвышенно, это прекрасно, это – истинная наука. А всякие подпорки и припарки – отличный знак малодушных! Доктора подсовывают нам костыли, словно мы родились калеками или рабами. Я не рабыня, мсье Фламбо. Люди думают, что все это нужно, потому что их учат страху, а не смелости и силе. Глупые няньки не дают детям смотреть на солнце, а потом никто и не может прямо на него смотреть. Я гляжу на звезды, буду глядеть и на эту. Солнце мне не хозяин, хочу – и смотрю!

– Ваши глаза ослепят солнце, – сказал Фламбо, кланяясь с иностранной учтивостью. Ему нравилось говорить комплименты этой странной, колючей красавице, отчасти потому, что она немного терялась. Но, поднимаясь на свой этаж, он глубоко вздохнул, присвистнул и проговорил про себя: «Значит, и она попала в лапы к этому знахарю с золотым глазом...» Как бы мало он ни знал о новой религии, как бы мало ею ни интересовался, о том, что адепты ее глядят на солнце, он все же слышал.

Вскоре он заметил, что духовные узы между верхней и нижней конторой становятся все крепче. Тот, кто именовал себя Каломом, был поистине великолепен, как и подобает жрецу солнечного бога. Он был ненамного ниже Фламбо, но гораздо красивее. Золотой бородой, синими глазами, откинутой назад львиной гривой он походил как нельзя больше на белокурую бесстию³⁰, воспетую Ницше, но животную его красоту смягчали, возвышали, просветляли мощный разум и сила духа. Он походил на саксонского короля, но такого, который прославился святостью. Этому не мешала деловая, будничная обстановка – контора в многоэтажном доме на Виктория-стрит, аккуратный и скучный клерк в приемной, медная табличка, золоченый глаз вроде рекламы окулиста. И тело его и душа сияли сквозь пошлость властной, вдохновенной силой. Всякий чувствовал при нем, что это – не мошенник, а мудрец. Даже в просторном полотняном костюме, который он носил в рабочие часы, он был необычен и величав. Когда же он славословил солнце в белых одеждах, с золотым обручем на голове, он был так прекрасен, что толпа, собравшаяся поглазеть на него, внезапно умолкала. Каждый день, три раза, новый солнцепоклонник выходил на небольшой балкон и перед всем Вестминстером молился своему сверкающему господину – на рассвете, в полдень и на закате. Часы еще не пробили двенадцать раз на башне парламента, колокола еще не отзвонили, когда отец Браун, друг Фламбо, впервые увидел белого жреца, поклонявшегося Аполлону.

Фламбо его видел не впервые и скрылся в высоком доме, не поглядев, идет ли за ним священник; а тот – из профессионального интереса к обрядам или из личного, очень сильного интереса к шутовству – загляделся на жреца, как загляделся бы на кукольный театр. Пророк, именуемый Каломом, в серебристо-белых одеждах стоял, воздев кверху руки, и его на удивление властный голос, читающий литанию, заполнял суетливую, деловитую улицу. Вряд ли солнечный жрец что-нибудь видел; во всяком случае, он не видел маленького, круглолицего священника, который, помаргивая, глядел на него из толпы. Наверное, это и отличало друг от друга таких непохожих людей: отец Браун мигал всегда, на что бы ни смотрел; служитель Аполлона смотрел, не мигая, на полуденное солнце.

– О, солнце! – возглашал пророк. – Звезда, величайшая из всех звезд! Источник, бурно струящийся в таинственное пространство! Ты, породившее всякую белизну – белое пламя, белый цветок, белый гребень волны! Отец, невиннейший невинных и безмятежных детей, перевозданная чистота, в чем покое...

Что-то страшно затрещало, словно взорвалась ракета, и сразу же раздались пронзительные крики. Пять человек кинулись в дом, трое выбежало, и, столкнувшись, они оглушили друг друга громкой, сбивчивой речью. Над улицей повисла несказанная жуть, страшная весть, особенно страшная от того, что никто не знал, в чем дело. Все бегали и кричали, только двое стояли тихо: наверху – прекрасный жрец Аполлона, внизу – неприметный служитель Христа.

Наконец в дверях появился Фламбо, могучий великан, и небольшая толпа присмирела. Громко, как сирена в тумане, он приказал кому-то (или кому угодно) бежать за врачом и снова исчез в темном, забитом людьми проходе, а друг его, отец Браун, незаметно скользнул за ним. Нырять сквозь толпу, он слышал глубокий, напевный голос, взывавший к радостному богу, другу цветов и ручейков.

Добравшись до места, священник увидел, что Фламбо и еще человек пять стоят у клетки, в которую обычно спускался лифт. Но его там не было. Там была та, которая обычно спускалась в лифте.

Фламбо уже четыре минуты глядел на разможенную голову и окровавленное тело красавицы, не признававшей трагедий. Он не сомневался, что это Полина Стэси, и хотя послал за доктором, не сомневался, что она мертва.

³⁰ *Белокурая бесстиа* – романтический образ ницшеанской языческой культурологии; воплощение арийского духа и воинствующего пафоса древнегерманской мифологии.

Ему никак не удалось вспомнить, нравилась она ему или нет; скорее всего, она и привлекала его, и раздражала. Но он о ней думал; и невыносимо трогательный образ ее привычек и повадок пронзил его сердце крохотными кинжалами утраты. Он вспомнил ее нежное лицо и уверенные речи с той поразительной четкостью, в которой – вся горечь смерти. Мгновенно, как гром с ясного неба, как молния с высоты, прекрасная, гордая женщина низринулась в колодезь лифта и разбилась о дно. Что это, самоубийство? Нет, она слишком дерзко любила жизнь. Убийство? Кому же убить в полупустом доме? Хрипло и сбивчиво стал он спрашивать, где же этот Калон, и вдруг понял, что слова его не грозны, а жалобны. Тихий, ровный, глубокий голос ответил ему, что Калон уже четверть часа славит солнце у себя на балконе. Когда Фламбо услышал этот голос и ощутил руку на плече, он обратился к другу потемневшее лицо и резко спросил:

– Если его нет, кто же это сделал?

– Пойдем наверх, – сказал отец Браун. – Может, там узнаем. Полиция придет только через полчаса.

Препоручив врачам тело убитой, Фламбо кинулся в ее контору, никого не увидел и побегал к себе. Теперь он был очень бледен.

– Ее сестра, – сказал он другу с недоброй значительностью, – пошла погулять.

Отец Браун кивнул.

– Или поднялась к этому солнечному мужу, – предположил он. – Я бы на вашем месте это проверил, а уж потом мы все обсудим тут, у вас. Нет! – спохватился он. – Когда же я поумнею? Конечно, там, у них.

Фламбо ничего не понял, взглянул на него, но покорно проводил его в пустую контору. Загадочный пастырь сел в красное кожаное кресло у самого входа, откуда были видны и лестница, и все три площадки, и стал ждать. Вскоре по лестнице спустились трое, все – разные, все – одинаково важные. Первой шла Джоан, сестра покойной; значит, она и впрямь была наверху, во временном святилище солнца. Вторым шел солнечный жрец, завершивший славословия и спускавшийся по пустынным ступеням во всей своей славе; белым одеянием, бородой и расчесанной на две стороны гривой он напоминал Христа, выходящего из претории, с картины Доре³¹. Третьим шел мрачный, озадаченный Фламбо.

Джоан Стэси – хмурая и смуглая, седеющая раньше времени, направилась к своему столу и деловито шлепнула на него бумаги. Все очнулись. Если мисс Джоан и была убийцей, хладнокровие ей не изменило. Отец Браун взглянул на нее и, не отводя от нее глаз, обратился не к ней.

– Пророк, – сказал он, по-видимому, Калону, – я бы хотел, чтобы вы поподробнее рассказали мне о своей вере.

– С превеликой гордостью, – отвечал Калон, склоняя увенчанную голову. – Но я не совсем вас понимаю...

– Дело вот в чем, – простодушно и застенчиво начал священник. – Нас учат, что, если у кого-нибудь плохие, совсем плохие принципы, он в этом и сам виноват. Но все же мы меньше спросим с того, кто замутил совесть софизмами. Считаете ли вы, что убивать нельзя?

– Это обвинение? – очень спокойно спросил Калон.

– Нет, – мягко ответил Браун, – это защита.

Все удивленно молчали. Жрец Аполлона поднялся медленно, как само солнце. Он заполнил комнату светом и силой, и казалось, что точно так же он заполнил бы Солсбери-Плейн. Всю комнату украсили белые складки его одежд, рука величаво простерлась вдаль, и малень-

³¹ ...напоминал Христа, выходящего из претории, с картины Доре. – Гюстав Доре (1832–1883), французский живописец-график, автор многочисленных иллюстраций к изданиям классики (Данте, Рабле, Сервантес, Свифт), а также к Библии. Сюжет упомянутой картины восходит к евангельскому тексту: допрос Иисуса Христа Понтием Пилатом. Ин., 18, 28 и далее.

кий священник в старой сутане стал нелепым и неуместным, словно черная круглая клякса на белом мраморе Эллады.

– Мы встретились, Кайафа³²! – сказал пророк. – Кроме вашей церкви и моей, нет ничего на свете. Я поклоняюсь солнцу, вы – мраку. Вы служите умирающему, я – живому богу. Вы подозреваете меня, выслеживаете, как и велит вам ваша вера. Все вы – ищейки и сыщики, злые соглядатаи, стремящиеся пыткой или подлостью вырвать у нас покаяние. Вы обвините человека в преступности, я обвиню его в невинности. Вы обвините его в грехе, я – в добродетели. Еще одно я скажу вам, читатель черных книг, прежде чем опровергнуть пустые, мерзкие домыслы. И в малой мере не понять вам, как безразличен мне ваш приговор. То, что вы зовете бедой и казнью, для меня – как чудище из детской сказки для взрослого человека. Мне так безразлично марево этой жизни, что я сам себя обвиню. Против меня есть одно свидетельство, и я назову его. Женщина, умершая сейчас, была мне подругой и возлюбленной – не по закону ваших игрушечных молелен, а по закону, который так чист и строг, что вам его не понять. Мы пребывали с ней в ином, не вашем мире, в сияющих чертогах, пока вы шныряли по тесным, запутанным проулкам. Я знаю, стражи порядка – и обычные, и церковные – считают, что нет любви без ненависти. Вот вам первый повод для обвинения. Но есть и второй, посерьезнее, и я не скрою его от вас. Полина не только любила меня, – сегодня утром, перед смертью, она за этим самым столом завещала моей церкви полмиллиона. Ну, где же оковы? Вам не понять, что мне безразличны ваши нелепые кары. В тюрьме я буду ждать, как на станции, скорого поезда к ней. Виселица доставит меня еще скорее.

Он говорил с ораторской властью, Фламбо и Джоан в немом восхищении глядели на него. Лицо отца Брауна выражало только глубокую печаль; он смотрел в пол, и лоб его прорезала морщина. Пророк, легко опершись о доску стола, завершал свою речь:

– Я изложил свое дело коротко, больше сказать нечего. Еще меньше слов понадобится мне, чтобы опровергнуть обвинение. Правда проста: убить я не мог. Полина Стэси упала с этого этажа в пять минут первого. Человек сто подтвердят под присягой, что я стоял на своем балконе с двенадцати, ровно четверть часа. Я всегда совершаю в это время молитву на глазах у всего света. Мой клерк, простой и честный человек, никак со мной не связанный, скажет, что сидел в приемной все утро, и никто от меня не выходил. Он скажет, что я пришел без четверти двенадцать, когда о несчастье никто еще не думал, и не уходил с тех пор из конторы. Такого полного алиби ни у кого не было: показания в мою пользу даст весь Вестминстер. Как видите, оков не нужно. Дело закончено.

Но под конец я скажу вам все, что вы хотите выведать, и разгоню последние ключья нелепейшего подозрения. Мне кажется, я знаю, как умерла моя несчастная подруга. Воля ваша, вините в том меня, или мое учение, или мою веру. Но обвинить меня в суде нельзя. Все прикоснувшиеся к высшим истинам знают, что люди, достигшие высоких степеней посвящения, обретали иногда дар левитации, умели держаться в воздухе. Это лишь часть той победы над материей, на которой зиждется наша сокровенная мудрость. Несчастливая Полина была порывиста и горда. По правде говоря, она постигла тайны не так глубоко, как думала. Когда мы спускались в лифте, она часто мне говорила, что, если воля твоя сильна, ты слетишь вниз, как перышко. Я искренне верю, что, воспаривши духом, она дерзновенно понадеялась на чудо. Но воля или вера изменили ей, и низший закон, страшный закон материи, взял свое. Вот и все, господа. Это печально, а по-вашему – и самонадеянно, и дурно, но преступления здесь нет, и я тут ни при чем. В отчете для полиции лучше назвать это самоубийством. Я же всегда назову это ошибкой подвижницы, стремившейся к большему знанию и к высшей, небесной жизни.

³² *Кайафа* – иерусалимский первосвященник; дал совет иудеям «лучше одному человеку умереть за народ», подстрекая народ к казни Христа. Ин., 18, 14.

Фламбо впервые видел, что друг его побежден. Отец Браун сидел тихо и глядел в пол, страдальчески хмурясь, словно стыдился чего-то. Трудно было бороться с ощущением, которое так властно поддерживали крылатые слова пророка: тот, кому положено подозревать людей, побежден гордым, чистым духом свободы и здоровья. Наконец священник сказал, моргая часто, как от боли:

– Ну что ж, если так, берите это завещание. Где же она, бедняжка, его оставила?

– На столе, у двери, – сказал Калон с той весомой простотой, которая сама по себе оправдывала его. – Она мне говорила, что напишет сегодня утром, да я и сам видел ее, когда поднимался на лифте к себе.

– Дверь была открыта? – спросил священник, глядя на уголок ковра.

– Да, – спокойно ответил Калон.

– Так ее и не закрыли... – сказал отец Браун, прилежно изучая ковер.

– Вот какая-то бумажка, – проговорила непонятным тоном мрачная Джоан Стэси. Она прошла к столу сестры и взяла листок голубой бумаги. Брезгливая ее улыбка совсем не подходила к случаю, и Фламбо нахмурился, взглянув на нее.

Пророк стоял в стороне с тем царственным безразличием, которое его всегда выручало. Бумагу взял Фламбо и стал ее читать, все больше удивляясь. Поначалу было написано как надо, но после слов «отдаю и завещаю все, чем владею в день смерти» буквы внезапно сменялись царапинами, а подписи вообще не было. Фламбо в полном изумлении протянул это другу, тот посмотрел и молча передал служителю солнца.

Секунды не прошло, как жрец, взвихрив белые одежды, двумя прыжками подскочил к Джоан Стэси. Синие его глаза вылезли из орбит.

– Что это за шутки? – орал он. – Полина больше написала!

Страшно было слышать его новый, по-американски резкий говор. И величие, и велеречивость упали с него, как плащ.

– На столе ничего другого нет, – сказала Джоан и все с той же благосклонно-язвительной улыбкой прямо посмотрела на него.

Он разразился мерзкой, немислимой бранью. Страшно и стыдно было видеть, как упала с него маска, словно отвалилось лицо.

– Эй, вы! – заорал он, отбранившись. – Может, я и мошенник, а вы – убийца! Вот вам и разгадка, без всяких этих левитаций! Девочка писала завещание... оставляла все мне... эта мерзавка вошла... вырвала перо... потащила ее к колодцу и столкнула! Да, без наручников не обойдемся!

– Как вы справедливо заметили, – с недобрый спокойствием произнесла мисс Джоан, – ваш клерк – человек честный и верит в присягу. Он скажет в любом суде, что я приводила в порядок бумаги за пять минут до смерти сестры и через пять минут после ее смерти. Мистер Фламбо тоже скажет, что застал меня там, у вас.

Все помолчали.

– Значит, Полина была одна! – воскликнул Фламбо. – Она покончила с собой!

– Она была одна, – сказал отец Браун, – но с собой не покончила.

– Как же она умерла? – нетерпеливо спросил Фламбо.

– Ее убили.

– Так она же была одна! – возразил сыщик.

– Ее убили, когда она была одна, – ответил священник.

Все глядели на него, но он сидел так же тихо, отрешенно, и круглое лицо его хмурилось, словно он горевал о ком-то или за кого-то стыдился. Голос его был ровен и печален.

Калон снова выругался.

– Нет, вы скажите, – крикнул он, – когда придут за этой кровожадной гадиной? Убила родную сестру, украла у меня полмиллиона...

– Ладно, ладно, пророк, – усмехнулся Фламбо, – чего там, этот мир – только марево... Служитель солнечного бога попытался снова влезть на пьедестал.

– Не в деньгах дело! – возгласил он. – Конечно, на них я распространил бы учение по всему свету. Но главное – воля моей возлюбленной. Для нее это было святыней. Полина видела...

Отец Браун вскочил, кресло зашаталось. Он был страшно бледен, но весь светился надеждой, и глаза его сияли.

– Вот! – звонко воскликнул он. – С этого и начнем! Полина видела...

Высокий жрец суетливо, как сумасшедший, попятился перед маленьким священником.

– Что такое? – визгливо повторял он. – Да как вы смеете?

– Полина видела... – снова сказал священник, и глаза его засияли еще ярче. – Говорите... ради Бога, скажите все! Самому гнусному преступнику, совращенному бесом, становится легче после исповеди. Покайтесь, я очень вас прошу! Как видела Полина?

– Пустите меня, черт вас дерит! – орал Калон, словно связанный гигант. – Какое вам дело? Ищейка! Паук! Что вы меня путаете?

– Схватить его? – спросил Фламбо, кидаясь к выходу, ибо Калон широко распахнул дверь.

– Нет, пусть идет, – сказал отец Браун и вздохнул так глубоко, словно печаль его всколыхнула глубины Вселенной. – Пусть Каин идет, он – Божий.

Когда он уходил, все молчали, и быстрый разум Фламбо томился в недоумении. Мисс Джоан с превеликим спокойствием прибирала бумаги на своем столе.

– Отец, – сказал наконец Фламбо, – это долг мой, не только любопытство... Я должен узнать, если можно, кто совершил преступление.

– Какое? – спросил священник.

– То, которое сегодня случилось, – отвечал его порывистый друг.

– Сегодня случилось два преступления, – сказал отец Браун. – Они очень разные, и совершили их разные люди.

Мисс Джоан сложила бумаги, отодвинула их и стала запирать шкаф. Отец Браун продолжал, обращая на нее не больше внимания, чем она обращала на него.

– Оба преступника, – говорил он, – воспользовались одним и тем же свойством одного и того же человека, и боролись они за одни и те же деньги. Преступник покрупнее споткнулся о преступника помельче, и деньги получил тот.

– Не тяните вы, как на лекции, – взмолился Фламбо. – Скажите попросту.

– Я скажу совсем просто, – согласился его друг.

Мисс Джоан, деловито и невесело хмурясь, надела перед зеркальцем невеселую, деловитую шляпку, неторопливо взяла сумку и зонтик и вышла из комнаты.

– Правда очень проста, – сказал отец Браун. – Полина Стэси слепла.

– Слепла... – повторил Фламбо, медленно встал и распрямился во весь свой огромный рост.

– Это у них в роду, – продолжал отец Браун. – Сестра носила бы очки, но она ей не давала. У нее ведь такая философия, или такое суеверие... она считала, что слабость нужно преодолеть. Она не признавала, что туман сгущается, хотела разогнать его волей. От напряжения она слепла еще больше, но самое трудное было впереди. Этот несчастный пророк, или как его там, заставил ее глядеть на огненное солнце. Они это называли «вкушать Аполлона». О Господи, если бы эти новые язычники просто подражали старым! Те хоть знали, что в чистом, беспримесном поклонении природе немало жестокого. Они знали, что око Аполлона может погубить³³ и ослепить.

³³ ...око Аполлона может погубить... – Речь идет о солнечных стрелах бога Аполлона, которыми он сразил великана Тития и циклопов.

Священник помолчал, потом начал снова, тихо и даже с трудом:

– Не пойму, сознательно ли ослепил ее этот дьявол, но слепотой он воспользовался сознательно. Убил он ее так просто, что невозможно об этом подумать. Вы знаете, оба они спускались и поднимались на лифте сами; знаете вы и то, как тихо эти лифты скользят. Калон поднялся до ее этажа и увидел в открытую дверь, что она медленно, выводя буквы по памяти, пишет завещание. Он весело крикнул, что лифт ее ждет, и позвал, когда она допишет, к себе. А сам нажал кнопку, беззвучно поднялся выше и молился в полной безопасности, когда она, бедная, кончила писать, побежала в лифт, чтобы скорей попасть к возлюбленному, и ступила...

– Не надо! – крикнул Фламбо.

– За то, что он нажал кнопку, он получил бы полмиллиона, – продолжал низкорослый священник тем ровным голосом, которым он всегда говорил о страшных вещах. – Но ничего не вышло. Не вышло ничего потому, что еще один человек хотел этих денег и знал о Полининой болезни. Вот вы не заметили в завещании такой странности: оно не дописано и не подписано, а подписи свидетелей – Джоан и служанки – там стоят. Джоан подписалась первой и с женским пренебрежением к формальностям сказала, что сестра подпишется потом. Значит, она хотела, чтобы сестра подписалась без настоящих, чужих свидетелей. С чего бы это? Я вспомнил, что Полина слепла, и понял: Джоан хотела, чтобы ее подписи вообще не было.

Такие женщины всегда пишут вечным пером, а Полина и не могла писать иначе. Привычка, и воля, и память помогали ей писать совсем хорошо; но она не знала, есть ли в ручке чернила. Наполняла ручку сестра – а на сей раз не наполнила. Чернил хватило на несколько строк, потом они кончились. Пророк потерял пятьсот тысяч фунтов и совершил зря самое страшное и гениальное преступление на свете.

Фламбо подошел к открытым дверям и услышал, что по лестнице идет полиция. Он обернулся и сказал:

– Как же вы ко всему присматривались, если так быстро его разоблачили!

Отец Браун удивился.

– Его? – переспросил он. – Да нет! Мне было трудно с этой ручкой и с мисс Джоан. Что Калон преступник, я знал еще там, на улице.

– Вы шутите? – спросил Фламбо.

– Нет, не шучу, – отвечал священник. – Я знал, что он преступник, раньше, чем узнал, каково его преступление.

– Как это? – спросил Фламбо.

– Языческих стойков, – задумчиво сказал отец Браун, – всегда подводит их сила. Раздался грохот, поднялся крик, а жрец Аполлона не замолчал и не обернулся. Я не знал, что случилось; но я понял, что он этого ждал.

Сломанная шпага

Пер. А. Ибрагимова

Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев – серебряными. В сине-зеленом сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звезды. Весь этот лесистый и пустынный край был скован жестоким морозом. Черные промежутки между стволами деревьев зияли бездонными черными пещерами холода. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища. И все-таки, пожалуй, его стоило осмотреть.

Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие горба или плеча, покрытого серым при звездном свете дерном. Большинство могил расположено было по склону; тропа, взбегавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма, в самом заметном месте, стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил, ибо создал его один из величайших скульпторов современной Европы; однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал.

Звездный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простертого на земле солдата; сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинства лицо обрамляла борода, вернее, бакенбарды в старомодном тяжеловесном вкусе служаки-полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага с отломанным концом, слева – Библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в переполненных линейках американцы и просвещенные местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одинокого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, возвышавшихся над чащами.

В эту темную морозную ночь, казалось, каждый бы мог ожидать, что останется наедине со звездами. Но вот в тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка: по тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом холодном свете звезд видно было только, что оба путника в черных одеждах и что один из них непомерно велик, а другой (возможно, по контрасту) удивительно мал. Они подошли к надгробью знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа; человек с болезненно-мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертен ли он сам. Начало их разговора, во всяком случае, было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому:

– Где умный человек прячет камешек?

И большой тихо ответил:

– На морском берегу³⁴.

Маленький кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил:

– А где умный человек прячет лист?

И большой ответил:

– В лесу.

Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова:

– А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных, – вы намекаете на это, не правда ли?

³⁴ ...прячет камешек... на морском берегу. – Этот парадокс использован в новелле аргентинского писателя Х. Л. Борхеса (1899–1985) «Книга бегущих песчинок». – *Здесь и далее примеч. пер.*

– Нет, нет, – смеясь, возразил маленький, – не будем поминать старое.

Он потопал замерзшими ногами и продолжал:

– Я думаю не об этом, о другом, о совсем необычном. А ну-ка, зажгите спичку.

Большой порылся в кармане, вскоре чиркнула спичка, и пламя ее окрасило желтым светом плоскую грань памятника. На ней черными буквами были высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев:

В священную память
ГЕНЕРАЛА СЭРА АРТУРА СЕНТ-КЛЭРА,
героя и мученика, всегда побеждавшего своих врагов и всегда
щадившего их, но предательски сраженного ими.
Да вознаградит его Господь, на которого он уповал, и да отмстит за его
погибель.

Спичка обожгла большому пальцы, почернела и упала. Он хотел зажечь еще одну, но товарищ остановил его:

– Не надо, Фламбо: я видел все, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти полторы мили до ближайшей гостиницы; там я расскажу вам обо всем. Видит бог: только за кружкой эля у камелька осмелишься рассказать такую историю.

Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко топая, зашагали по мерзлой лесной дороге. Они прошли не меньше четверти мили, прежде чем маленький заговорил снова.

– Умный человек прячет камешек на морском берегу, – сказал он. – Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сент-Клэра?

– Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун, – рассмеявшись, ответил большой, – только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я отлично знаю, какую уйму времени потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в шести разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сент-Клэру. На набережной Темзы – статую генерала Сент-Клэра на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сент-Клэра я видел на улице, где он жил, другой – на улице, где он родился, а теперь, в глухую полночь, вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более что я понятия не имею, кто он такой... Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний?

– Я ищу одно слово, – сказал отец Браун, – слово, которого здесь нет.

– Может быть, вы что-нибудь расскажете? – спросил Фламбо.

– Свой рассказ мне придется разделить на две части, – заметил священник, – первая часть – это то, что знают все; вторая – то, что знаю только я. Первую можно изложить коротко и ясно. Но она далека от истины.

– Прекрасно, – весело сказал большой человек, которого звали Фламбо. – Давайте начнем с того, что знают все, – с неправды.

– Если это и не совсем ложно, то, во всяком случае, мало соответствует истине, – продолжал отец Браун. – В сущности, все, что известно широкой публике, сводится к следующему... Ей известно, что Артур Сент-Клэр был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных кампаний в Индии и в Африке он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сент-Клэр незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего пленения генерал, к негодо-

ванию всего цивилизованного человечества, был повешен на ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле, на шее у него висела поломанная шпага.

– И эта версия неверна? – поинтересовался Фламбо.

– Нет, – спокойно сказал его приятель, – все, что я успел рассказать, верно.

– Мне кажется, вы успели рассказать довольно много, – сказал Фламбо. – Если это верно, то в чем же тайна?

Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал:

– Тайна тут – в психологии, вернее сказать, в двух психологиях. В этом бразильском деле двое знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье и Сент-Клэр, были героями – в этом не приходится сомневаться. Это был поединок между Ахиллом и Гектором³⁵. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор предателем?

– Продолжайте, – нетерпеливо промолвил Фламбо, когда рассказчик снова начал покусывать палец.

– Сэр Артур Сент-Клэр был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время Большого бунта³⁶, – продолжал Браун. – Превыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был, безусловно, осторожным военачальником и особенно негодовал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребенку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затеи, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна: что случилось с разумом английского генерала? Вторая загадка: что случилось с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно называть мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен, а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые причинили ему беспорочное зло, уходили, тронутые его простотой и добросердечием. Зачем же, черт возьми, решился он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да еще за нападение, которое не могло ему повредить? Вот в чем тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот. Один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и все. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами.

– Э, нет, – ответил его спутник, фыркнув. – Я предоставляю это вам. Расскажите-ка мне обо всем.

– Тогда слушайте, – начал отец Браун. – Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значения. Но, если так можно выразиться, они еще более затемнили его; обнаружили новые, покрытые мраком обстоятельства. Первое событие. Врач Сент-Клэров рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком; впрочем, поскольку можно судить по его собственным словам, это означает лишь чрезмерную религиозность. Как бы то ни было, его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сент-Клэр был излишне строг в своем пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания: в несчастном, лишенном поддержки полку, который бросился в отчаянную атаку у Черной реки, служил некий капитан Кейт; в то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье; надо думать, что с ним, как

³⁵ ...поединок между Ахиллом и Гектором. – Описан у Гомера в «Илиаде». Песнь XXI.

³⁶ ...во время Большого бунта. – Речь идет об индийском национальном восстании 1857–1859 годов.

и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около двадцати лет спустя Кейт – теперь уже полковник – выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленной «Британский офицер в Бирме и Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведений о причинах поражения Сент-Клэра, он находит следующие слова: «Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прикрасах. Исключение из этого правила я делаю только для поражения при Черной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов. Генерала Сент-Клэра обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении: могу засвидетельствовать, что его действия – если только их правильно понимать – едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же источникам президент Оливье обвиняется в чудовищной несправедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изъясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сент-Клэр вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова».

Большая замерзшая луна, похожая на блестящий снежный ком, проглядывала сквозь путаницу ветвей, и при ее свете рассказчик, чтобы освежить память, заглянул в клочок бумаги, вырванный из книги капитана Кейта. Когда он сложил и убрал его в карман, Фламбо вскинул руку – жест, свойственный экспансивным французам.

– Минутку, обождите минутку! – закричал он возбужденно. – Мне кажется, я догадываюсь.

Он шел большими шагами, тяжело дыша, вытянув вперед бычью шею, как спортсмен, участвующий в состязаниях по ходьбе. Священник – повеселевший и заинтересованный – семенил сбоку, едва поспевая за ним. Деревья расступились. Дорога сбегала вниз по залитой лунным светом поляне и, точно кролик, ныряла в стоявший сплошной стеной лес. Издали вход в этот лес казался маленьким и круглым, как черная дыра железнодорожного туннеля. Но когда Фламбо заговорил снова, отверстие было всего в нескольких сотнях ярдов от путников и зияло, как пещера.

– Понял! – вскричал он, ударяя ручищей по бедру. – Четыре минуты размышлений – и теперь я сам могу изложить все происшедшее.

– Отлично, – согласился его друг, – рассказывайте.

Фламбо поднял голову, но понизил голос.

– Генерал Артур Сент-Клэр, – сказал он, – происходил из семьи, страдавшей наследственным сумасшествием. Он во что бы то ни стало хотел скрыть это от своей дочери и даже, если возможно, от будущего зятя. Верно или нет, но он думал, что наступает час полного затмения рассудка, и потому решил покончить с собой. Обычное самоубийство привело бы к огласке, которой он так страшился. Когда начались военные действия, разум его помутился, и в приступе безумия он пожертвовал общественным долгом ради своей личной чести. Генерал стремительно бросился в битву, рассчитывая пасть от первого же выстрела. Но когда он обнаружил, что не добился ничего, кроме позора и плена, безумие, как взрыв бомбы, поразило его сознание, он сломал собственную шпагу и повесился.

Фламбо устался на серую стену леса с единственным черным отверстием, похожим на могильную яму, – туда ныряла их тропа. Должно быть, в том, что дорогу проглатывал лес, было что-то жуткое; он еще ярче представил себе трагедию и вздрогнул.

– Страшная история, – проговорил он.

– Страшная история, – наклонив голову, подтвердил священник. – Но на самом деле произошло совсем другое. – В отчаянии откинув голову, он воскликнул: – О, если бы все было так, как вы описали!

Фламбо повернулся и посмотрел на него с удивлением.

– В том, что вы рассказали, нет ничего дурного, – глубоко взволнованный, заметил отец Браун. – Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке, светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Все значительно хуже.

Фламбо бросил испуганный взгляд на луну, которую отец Браун только что упомянул в своем сравнении, – ее пересекал изогнутый черный сук, похожий на рог дьявола.

– Как! – с порывистым жестом вскричал Фламбо и быстрее зашагал вперед. – Еще хуже?

– Еще хуже, – как эхо, мрачно откликнулся священник.

И они вступили в черную галерею леса, словно задернутую по бокам дымчатым гобеленом стволов, – такие темные проходы могут привидеться разве что в кошмаре.

Вскоре они достигли самых потаенных недр леса; здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение. И снова раздался голос священника:

– Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет?

– Да, да, – отозвался Фламбо раздраженно, – что ему делать?

– Он сажает лес, чтобы спрятать лист, – сказал священник приглушенным голосом. – Страшный грех!

– Послушайте! – воскликнул его товарищ нетерпеливо, так как темный лес и темные недомолвки стали действовать ему на нервы. – Расскажете вы эту историю или нет? Что вы еще знаете?

– У меня имеются три свидетельских показания, – начал его собеседник, – которые я отыскал с немалым трудом. Я расскажу о них скорее в логической, чем в хронологической последовательности. Прежде всего о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с двумя-тремя полками окопался на высотах у Черной реки, оба берега которой заболочены. На противоположном берегу, где местность поднималась более отлого, располагался первый английский аванпост. Основные части находились в тылу, на значительном от него расстоянии. Британские войска во много раз превосходили по численности бразильские, но этот передовой полк настолько оторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако к вечеру он решил остаться на прежней позиции, исключительно выгодной. На рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишенная поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку – частично по мосту, частично вброд – и группируется на болотистом берегу, чуть ниже того места, где находились его войска.

То, что англичане с такими силами решились на атаку, было само по себе невероятным, но Оливье увидел нечто еще более поразительное. Солдаты сумасшедшего полка, своей безрассудной переправой через реку отрезавшие себе путь к отступлению, даже не пытались выбраться на твердую почву: они бездействовали, завязнув в болоте, как мухи в патоке. Не стоит и говорить, что бразильцы пробили своей артиллерией большие бреши в рядах врагов; англичане могли противопоставить ей лишь оживленный, но слабеющий ружейный огонь. И все-таки они не дрогнули; краткий рапорт Оливье заканчивается горячим восхищением загадочной отвагой этих безумцев. «Затем мы стали продвигаться вперед развернутым строем, – пишет Оливье, – и загнали их в реку; мы взяли в плен самого генерала Сент-Клэра и нескольких других офицеров. Полковник и майор – оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела не много таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка; раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат, сам генерал сражался на коне, с непокрытой головой, шпага его была сломана». О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кейт.

– А теперь, – проворчал Фламбо, – расскажите мне о следующем показании.

– Чтобы разыскать его, – сказал отец Браун, – мне пришлось потратить много времени, но рассказ о нем будет короток. В одной из линкольнширских богаделен мне удалось найти старого солдата, который был не только ранен у Черной реки, но стоял на коленях перед командиром части, когда тот умирал. Этот последний, некий полковник Кланси, здоровеннейший ирландец, надо думать, умер не столько от ран, сколько от ярости. Он-то, во всяком случае, не несет ответственности за нелепую вылазку, – вероятно, она была навязана ему генералом. Солдат передал мне предсмертные слова полковника: «Вон едет проклятый старый осел. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову». Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кланси. Перехожу к последнему показанию...

Тропа, идущая сквозь лесную чащу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ.

Затем он продолжал тем же деловым тоном:

– Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте, – испанец по фамилии Эспадо, желтолицый крючконосый щеголь; я был с ним лично знаком. По некоторым причинам частного порядка я добился разрешения просмотреть оставшиеся после него бумаги. Разумеется, он был католиком, и я находился с ним до самой кончины. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места сент-клэрвского дела, за исключением пяти-шести школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки.

Но описание последнего дня в жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне, но сейчас так темно, что ничего не разобрать. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат, по адресу одного человека, прозванного Стервятником. Кто он, сказать трудно; по-видимому, он не принадлежал к их рядам и даже не был англичанином. Не говорят о нем и как о враге. Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно, проводник или журналист. Он о чем-то совещался наедине со старым полковником Кланси, но значительно чаще видели, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, это был худощавый темноволосый человек по фамилии Мёррей, пуританин, родом из Северной Ирландии. Во многих остротах суровость этого ольстерца противопоставляется общительности полковника Кланси. Встречаются также словечки, высмеивающие яркую и пеструю одежду Стервятника.

Но все это легкомыслие рассеивается при первых признаках тревоги. Позади английского лагеря, почти параллельно реке, проходила одна из немногочисленных больших дорог. На западе она сворачивала к реке, пересекая ее по мосту. К востоку дорога снова углублялась в дикие лесные заросли, а двумя милями дальше стоял следующий английский аванпост. В тот вечер солдаты заметили в этом направлении блеск оружия и услышали топот легкой кавалерии; даже неискушенный автор дневника догадался, что едет генерал со своим штабом. Он восседал на большом белом коне, которого мы часто видели в иллюстрированных газетах и на академических полотнах. Можете не сомневаться, что приветствие, которым его встретили солдаты, было не пустой церемонией. Сам он между тем не тратил времени на церемонии: соскочив с седла, он присоединился к группе офицеров и принялся оживленно и конфиденциально беседовать с ними. Наш друг, автор дневника, заметил, что генерал охотнее всего обсуждает дела с майором Мёрреем, но такое предпочтение, пока оно не стало подчеркнутым, казалось вполне естественным. Эти люди были словно созданы для взаимного понимания: оба они, как говорится, «читали свои библии», оба были офицерами старого евангелического толка. Во всяком

случае, достоверно, что когда генерал снова сел в седло, он продолжал серьезный разговор с Мёрреем, а когда пустил лошадь медленным шагом по дороге, высокий ольстерец все еще шел у поводка коня, поглощенный беседой. Солдаты наблюдали за ними, пока они не скрылись в небольшой рожице, где дорога поворачивала к реке. Полковник Кланси возвратился к себе в палатку, солдаты отправились на посты, автор дневника задержался еще на несколько минут и увидел изумительное зрелище.

Прямо по направлению к лагерю несся большой белый конь, который только что, словно на параде, медленно выступал по дороге. Он летел стрелой, точно приближаясь на скачках к финишу. Сперва солдаты подумали, что он сбросил седока, но скоро увидели, что это сам генерал – превосходный наездник – гнал его во весь опор. Конь и всадник вихрем подлетели к солдатам; круто осадив скакуна, генерал повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и голосом, подобным звукам трубы в день Страшного суда, потребовал к себе полковника.

Замечу, кстати, что в головах таких людей, как наш солдат, потрясающие события этой катастрофы громоздятся друг на друга, словно груды бревен. Не успев опомниться после сна, солдаты становятся, едва не падая, в строй и узнают, что должны немедленно переправиться через реку и начать атаку. Им сообщают: генерал и майор обнаружили что-то у моста, и теперь для спасения жизни остается одно: незамедлительно напасть на врага. Майор срочно отправился в тыл вызвать резервы, стоящие у дороги. Однако сомнительно, чтобы подкрепления подошли вовремя, даже несмотря на спешку. Ночью полк должен форсировать реку и к утру овладеть высотами. Этой тревожной и волнующей картиной романтического ночного марша дневник внезапно заканчивается...

Лесная тропа делалась все уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доносился сверху:

– Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять эта шпага!

Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть: они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо, как воздух, но он не мог выразить ее. Он ответил в замешательстве:

– Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?

– В современной войне о них не часто упоминают, – бесстрастно произнес рассказчик, – но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу.

– Ну и что же из этого? – пробурчал Фламбо. – Дешевая сенсация: шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прямо-таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сент-Клэра?

– Нет! – Голос отца Брауна прозвучал резко, как револьверный выстрел. – Но кто видел шпагу целой?

– Что вы хотите сказать? – воскликнул его спутник и остановился как вкопанный.

Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место.

– Я спрашиваю: кто видел его шпагу целой? – настойчиво повторил отец Браун. – Только не тот, кто писал дневник: генерал вовремя убрал ее в ножны.

Освещенный лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом – так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце, – а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал:

– Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать. Но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение. Но он видел уже сломанную шпагу Сент-Клэра. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения!

– О! – заметил его товарищ с напускной веселостью. – А где же отломанный кусок?

– Могу вам ответить, – быстро сказал священник, – в северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте.

– В самом деле? – переспросил его собеседник. – Вы уже искали его там?

– Это невозможно, – с искренним сожалением ответил Браун. – Над ним находится большой мраморный памятник – памятник майору Мёррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке.

Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток.

– Вы хотите сказать, – сильным голосом воскликнул он, – что генерал Сент-Клэр ненавидел Мёррея и убил его на поле сражения, потому что...

– Вы все еще полны чистых, благородных предположений, – сказал священник. – Все было гораздо хуже.

– В таком случае, – сказал большой человек, – запас моего дурного воображения истощился.

Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и наконец сказал:

– Где умный человек прячет лист? В лесу.

Фламбо молчал.

– Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес.

Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише:

– А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел.

Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна, но отец Браун продолжал говорить, развивая свою последнюю мысль:

– Сэр Артур Сент-Клэр, как я уже упоминал, был одним из тех, кто «читает свою библию». Этим сказано все. Когда наконец люди поймут, что бесполезно читать только свою библию и не читать при этом библии других людей? Наборщик читает свою библию, чтобы найти опечатки; мормон читает свою библию и находит многобрачие; последователь «христианской науки» читает свою библию и обнаруживает, что наши руки и ноги – только видимость. Сент-Клэр был старым англо-индийским солдатом³⁷ протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и, ради всего святого, отбросьте ханжество! Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и, никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий Завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом Завете все, что хотел найти: похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности?

В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу Господа. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу: какого Господа? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в

³⁷ ...был старым англо-индийским солдатом. – Речь идет об английской колониальной армии в Индии (вторая половина XIX века).

круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданной и необузданной, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сент-Клэр запутался во взяточничестве и шантаже, ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте³⁸.

– Что вы хотите сказать? – спросил его друг.

– А вот что, – решительно вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую ледком, поблескивающим под лунным светом. – Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном кругу ада?

– Предателей, – сказал Фламбо и невольно вздрогнул. Он обвел взглядом безжизненные, дразняще-бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом – Вергилием, своим проводником в краю вековых грехов.

Голос продолжал:

– Как известно, Оливье отличался донкихотством: он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещение, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был не кто иной, как наш старый друг Эспадо, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали Стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не натолкнулся на единственного продажного человека. И, о Боже, он оказался тем, кто стоял на самом вершине! Генералу Сент-Клэру позарез требовались деньги – целые горы денег. Незадачливый врач Сент-Клэров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены; носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом с Парк-лейн³⁹, – преступлениях ничуть не менее гнусных, чем человеческие жертвоприношения или продажа людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданое дочери; слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам – и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он, еще один человек говорил с Эспадо-Стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Ольстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке, и, когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Мёррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян.

Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм, – я отчетливо вижу это, генерал выхватил шпагу и заколол майора...

Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловещими черными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо увидел далеко впереди неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, а он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька.

– Сент-Клэр был исчадием ада, сущим исчадием ада. Никогда – я готов в этом поклясться! – не проявил он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Мёррея лежало у его ног. Никогда, ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, которой он заколол Мёррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно – так, словно он глядел на происходящее из окна клуба, – Сент-Клэр обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно

³⁸ ...в последнем кругу Данте. – В девятом, последнем кругу Данте томятся предатели Иуда, Брут и Кассий. «Божественная комедия», «Ад», Песнь XXIV.

³⁹ Парк-лейн – фешенебельная лондонская улица.

люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительную сломанную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения; оставался еще один выход: сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов! Через двадцать минут восемьсот английских солдат двинулись навстречу гибели...

Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но казалось, он целиком поглощен своим рассказом.

– Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что, если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом. Но у злой воли, которая играла ими, как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топах у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом – величественная заключительная сцена: седовласый солдат, непорочный, как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено! Но я предполагаю – не могу этого доказать, – я предполагаю, что, пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения и кто-то угадал правду... – Он замолчал, а потом добавил: – Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж.

– Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клэра? – спросил Фламбо.

– Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными, – объяснил рассказчик. – В большинстве случаев он всех отпускал. И в тот раз он отпустил всех.

– Всех, кроме генерала, – поправил высокий человек.

– Всех, – повторил священник.

Фламбо нахмурил черные брови.

– Я не совсем понимаю вас, – сказал он.

– А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо, – таинственным полупшепотом начал Браун. – Я ничего не могу доказать, но – и это важнее! – я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов, и мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развеваются красная рубаха и длинная черная борода Оливье, в руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу – простого английского ветерана с белой как снег головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят навтыжку позади генерала, рядом – запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны – бразильцы трогаются в путь, англичане стоят как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, встрепенувшись, они сразу ломают строй; к генералу обращаются пятьдесят лиц – лиц, которые нельзя забыть.

Фламбо подскочил от возбуждения.

– О! – воскликнул он. – Неужели?..

– Да, – сказал отец Браун глубоким взволнованным голосом. – Это рука англичанина накинула петлю на шею Сент-Клэра, – думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к дереву позора, руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан – да простит и укрепит нас Господь – смотрели на него, когда он висел в лучах чужеземного солнца на зеленой виселице-пальме! И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад.

Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивавшийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того

места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь.

– Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше, – сказал отец Браун. – Они судили его и там же, на месте, казнили; потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть – помоги им в этом небо! – они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница.

– Забыть? С удовольствием! – сказал Фламбо. Он уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал. – Посмотрите-ка, что за чертовщина! – закричал он, указывая на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием и псевдоархаичными буквами было начертано: «Сломанная шпага».

– Что ж тут такого? – пожал плечами отец Браун. – Он – кумир всей округи; добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов.

– А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным! – вскричал Фламбо и сплюнул на дорогу.

– В Англии с ним никогда не покончат, – ответил священник, – до тех пор пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут, как родного отца, любить этого человека, с которым поступили как с дерьмом, те, кто его знал. Его будут почитать как святого и никто не узнает правды – так я решил. В разглашении тайны много и плохих и хороших сторон, – правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут, антибразильская шумиха уже кончилась, к Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово: если хоть где-нибудь появится надпись – на металле или на мраморе, долговечном, как пирамиды, – несправедливо обвиняющая в смерти генерала полковника Кланси, капитана Кийта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сент-Клэра, я буду молчать. И я сдержу свое слово!

Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сент-Клэра – серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями: одни изображали все ту же гробницу, другие – экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла.

– Ну и холод! – воскликнул отец Браун – Выпьем вина или пива?

– Лучше бренди, – сказал Фламбо.

Три орудия смерти

Пер. В. Хинкиса

По роду своей деятельности, а также и по убеждениям отец Браун лучше, чем большинство из нас, знал, что всякого человека удостаивают почестей и всяческого внимания, когда человек этот мертв. Но даже он был потрясен дикой нелепостью происшедшего, когда на рассвете его подняли с постели и сообщили, что сэр Арон Армстронг стал жертвой убийства. Было что-то бессмысленное и постыдное в тайном злодеянии, совершенном над столь обворожительной и прославленной личностью. Ведь сэр Арон был обворожителен до смешного, а слава его стала почти легендарной. Новость произвела такое впечатление, словно вдруг стало известно, что Солнечный Джим⁴⁰ повесился или мистер Пиквик умер в Хэнуолле⁴¹. Дело в том, что, хотя сэр Арон и был филантропом, а стало быть, соприкасался с темными сторонами нашего общества, он гордился тем, что соприкасается с ними в духе самого искреннего добродушия, какое только возможно. Его речи на политические и общественные темы представляли собой каскад шуток и «громового смеха»; его здоровье было поистине цветущим; его нравственность зиждилась на неистребимом оптимизме; соприкасаясь с проблемой пьянства (это была излюбленная тема его рассуждений), он выказывал неувыдаемую и даже несколько однообразную веселость, столь часто присущую человеку, который в рот не берет спиртного и не испытывает ни малейшей потребности выпить.

Общеизвестную историю его обращения в трезвенники постоянно поминали с самых пуританских трибун и кафедр, рассказывая, как он еще в раннем детстве был отвлечен от шотландского богословия пристрастием к шотландскому виски, как он вознесся превыше того и другого и стал (по собственному его скромному выражению) тем, что он есть. Правда, глядя на его пышную седую бороду, лицо херувима и очки, поблескивающие на бесчисленных обедах и заседаниях, где он неизменно присутствовал, трудно было поверить, что он мог когда-либо являть собою нечто столь тошнотворное, как умеренно пьющий человек или истовый кальвинист. Сразу чувствовалось, что это самый серьезный весельчак из всех представителей рода человеческого.

Жил он в тихом предместье Хэмпстеда, в красивом особняке, высоком, но очень тесном, с виду похожем на башню, вполне современную и ничем не примечательную. Самая узкая из всех узких стен этого дома выходила прямо к крутой, поросшей дерном железнодорожной насыпи и содрогалась всякий раз, когда мимо проносились поезда. Сэр Арон Армстронг, как с большой горячностью уверял он сам, был человеком, совершенно лишенным нервов. Но если проходящий поезд часто потрясал дом, то в это утро все было наоборот, – дом причинил потрясение поезду.

Локомотив замедлил ход и остановился в том самом месте, где угол дома нависал над крутым травянистым откосом. Остановить эту самую бездушную из мертвых машин удастся далеко не сразу; но живая душа, бывшая причиной остановки, действовала поистине стремительно. Некий человек, одетый во все черное, вплоть до (как запомнилось очевидцам) такой мелочи, как леденящие душу черные перчатки, вынырнул словно из-под земли у края железнодорожного полотна и замахал черными руками, словно какая-то жуткая мельница. Сами по себе подобные действия едва ли могли бы остановить поезд даже на малом ходу. Но при этом человек испустил вопль, который впоследствии описывали как нечто совершенно дикое и

⁴⁰ *Солнечный Джим* – могучий весельчак, изображенный на рекламе овсянки, символ радости и силы. – *Здесь и далее примеч. пер.*

⁴¹ *Хэнуолл* – лечебница для душевнобольных недалеко от Лондона.

нечеловеческое. Вопль был из тех звуков, которые едва вняты, даже если они слышны вполне отчетливо. В данном случае было выкрикнуто слово: «Убийство!»

Однако машинист клянется, что остановил бы поезд в любом случае, даже если бы услышал не слово, а лишь зловещий, неповторимый голос, который его выкрикнул.

Едва поезд затормозил, сразу же обнаружилось многие подробности недавней трагедии. Мужчина в черном, появившийся на краю зеленого откоса, был лакей сэра Арона Армстонга, угрюмый человек по имени Магнус. Баронет со свойственной ему беззаботностью частенько посмеивался над черными перчатками своего мрачного слуги; но теперь никто не склонен был над ними смеяться.

Когда несколько любопытствующих спустились с насыпи и прошли за почернелую от сажи изгородь, они увидели скатившееся почти до самого низу откоса тело старика в желтом домашнем халате с ярко-алой подкладкой. Нога убитого была захлестнута веревочной петлей, накинутой, по-видимому, во время борьбы. Были замечены и пятна крови, правда, весьма немногочисленные; но труп был изогнут или, вернее, скорчен и лежал в позе, какую невозможно принять живому существу. Это и был сэр Арон Армстронг. Через несколько минут подошел рослый светлородый человек, в котором кое-кто из ошеломленных пассажиров признал личного секретаря покойного, Патрика Ройса, некогда хорошо известного в богемных кругах и даже прославленного в богемных искусствах. Выказывая свои чувства более неопределенным, но при этом и более убедительным образом, он стал вторить горестным причитаниям лакея. А когда из дома появилась еще и третья особа, Элис Армстронг, дочь умершего, которая бежала неверными шагами и махала рукой в сторону сада, машинист решил, что далее медлить нельзя. Он дал свисток, и поезд, пытаясь, тронулся к ближайшей станции за помощью.

Так получилось, что отца Брауна срочно вызвали по просьбе Патрика Ройса, этого рослого секретаря, в прошлом связанного с богемой. По происхождению Ройс был ирландец; он принадлежал к числу тех легкомысленных католиков, которые никогда и не вспоминают о своем вероисповедании, покуда не попадут в отчаянное положение. Но вряд ли просьбу Ройса исполнили бы так быстро, не будь один из официальных сыщиков другом и почитателем непризнанного Фламбо: ведь невозможно быть другом Фламбо и при этом не наслушаться бесчисленных рассказов про отца Брауна. А посему когда молодой сыщик (чья фамилия была Мертон) вел маленького священника через поля к линии железной дороги, беседа их была гораздо доверительнее, нежели можно было бы ожидать от двоих совершенно незнакомых людей.

– Насколько я понимаю, – заявил Мертон без обиняков, – разобраться в этом деле просто невозможно. Тут решительно некого заподозрить. Магнус – напыщенный старый дурак; он слишком глуп для того, чтобы совершить убийство. Ройс вот уже много лет был самым близким другом баронета, ну а дочь, без сомнения, души не чаяла в своем отце. И, помимо прочего, все это – сплошная нелепость. Кто стал бы убивать старого весельчака Армстонга? У кого поднялась бы рука пролить кровь безобидного человека, который так любил застольные разговоры? Ведь это все равно что убить рождественского деда.

– Да, в доме у него действительно царило веселье, – согласился отец Браун. – Веселье это не прекращалось, покуда хозяин оставался в живых. Но как вы полагаете, сохранится ли оно теперь, после его смерти?

Мертон слегка вздрогнул и взглянул на собеседника с живым любопытством.

– После его смерти? – переспросил он.

– Да, – бесстрастно продолжал священник, – хозяин-то был веселым человеком. Но заразил ли он своим весельем других? Скажите откровенно, есть ли в доме еще хоть один веселый человек, кроме него?

В мозгу у Мертона словно приоткрылось оконце, и через него проник тот странный проблеск удивления, который вдруг проясняет то, что было известно с самого начала. Ведь он часто заходил к Армстронгам по делам, которые старый филантроп вел с полицией; и теперь

он вспомнил, что атмосфера в доме действительно была удручающая. В комнатах с высокими потолками стоял холод; обстановка отличалась дурным вкусом и дешевой провинциальностью; в коридорах, где гулял сквозняк, горели слабые электрические лампочки, светившие не ярче луны. И хотя румяная физиономия старика, обрамленная серебристо-седой бородой, озаряла ярким костром каждую комнату и каждый коридор, она не оставляла по себе ни капли тепла. Разумеется, это ощущение могильного холода до известной степени порождалось самой жизнерадостностью и кипучестью владельца дома; ему не нужны печи или лампы, сказал бы он, потому что его согревает собственное тепло. Но когда Мертон вспомнил других обитателей дома, ему пришлось признать, что они были лишь тенями хозяина. Угрюмый лакей с его чудовищными черными перчатками вполне мог бы привидеться в ночном кошмаре; Ройс, личный секретарь, здоровяк в твидовых брюках, смахивающий на быка, носил коротко подстриженную бородку, но в этой соломенно-желтой бородке уже странным образом пробивалась ранняя седина, а широкий лоб избороздили морщины. Конечно, он был вполне добродушен, но добродушие это было какое-то печальное, почти скорбное, – у него был такой вид, словно в жизни его постигла жестокая неудача. Ну а если взглянуть на дочь Армстронга, трудно поверить, что она и в самом деле приходится ему дочерью; лицо у нее такое бледное, с болезненными чертами. Она не лишена изящества, но во всем ее облике ощущается затаенный трепет, который делает ее похожей на осу. Иногда Мертон думал, что она, вероятно, очень пугается грохота проходящих поездов.

– Видите ли, – сказал отец Браун, едва заметно подмигивая, – я отнюдь не уверен, что веселость Армстронга доставляла большое удовольствие... м-м... его ближним. Вот вы говорите, что никто не мог убить такого славного старика, а я в этом далеко не убежден: *ne possis inducas in temptatione*⁴². Я лично если бы и убил человека, – добавил он с подкупающей простотой, – то уж непременно какого-нибудь оптимиста, смею заверить.

– Но почему? – вскричал изумленный Мертон. – Неужели вы считаете, что людям не по душе веселый нрав?

– Людям по душе, когда вокруг них часто смеются, – ответил отец Браун, – но я сомневаюсь, что им по душе, когда кто-либо всегда улыбается. Безрадостное веселье очень докучливо.

На этом разговор оборвался, и некоторое время они молча шли, обдуваемые ветром, вдоль рельсов по травянистой насыпи, а когда добрались до длинной тени от дома Армстронга, отец Браун вдруг сказал с таким видом, словно хотел отбросить тревожную мысль, а вовсе не высказать ее всерьез:

– Разумеется, в пристрастии к спиртному как таковом нет ни хорошего, ни дурного. Но иной раз мне невольно приходит на ум, что людям вроде Армстронга порою нужен бокал вина, чтобы стать немного печальней.

Начальник Мертон по службе, седовласый сыщик с незаурядными способностями, стоял на травянистом откосе, дожидаясь следователя, и разговаривал с Патриком Ройсом, чьи могучие плечи и всклокоченная бородка возвышались над его головой. Это было тем заметней еще и потому, что Ройс имел привычку слегка горбить крепкую спину и, когда отправлялся по церковным или домашним делам, двигался тяжело и неторопливо, словно буйвол, напряженный в прогулочную коляску.

При виде священника Ройс с несвойственной ему приветливостью поднял голову и отвел его на несколько шагов в сторону. А Мертон тем временем обратился к старшему сыщику не без почтительности, но по-мальчишески нетерпеливо:

– Ну как, мистер Гилдер, далеко ли вы продвинулись в раскрытии этой тайны?

– Никакой тайны здесь нет, – отозвался Гилдер, сонно щурясь на грачей, которые сидели поблизости.

⁴² *Ne nos inducas in temptatione.* – Не введи нас во искушение (*лат.*).

– Ну, мне, по крайней мере, кажется, что тайна все же есть, – возразил Мертон с улыбкой.

– Дело совсем простое, мой мальчик, – обронил старший сыщик, поглаживая седую остроконечную бородку. – Через три минуты после того, как вы по просьбе мистера Ройса отправились за священником, вся история стала ясна как день. Вы знаете одутловатого лакея в черных перчатках, того самого, который остановил поезд?

– Как не знать. При виде его у меня мурашки поползли по коже.

– Итак, – промолвил Гилдер, – когда поезд исчез из виду, человек этот тоже исчез. Вот уж поистине хладнокровный преступник! Удрал на том самом поезде, который должен был вызвать полицию, ведь ловко?

– Стало быть, вы совершенно уверены, – заметил младший сыщик, – что он действительно убил своего хозяина?

– Да, сынок, совершенно уверен, – ответил Гилдер сухо, – уже хотя бы по той пустяковой причине, что он прихватил двадцать тысяч фунтов наличными из письменного стола. Нет, теперь единственное затруднение, если только это вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы выяснить, как именно он его убил. Похоже, что череп проломлен каким-то тяжелым предметом, но поблизости тяжелых предметов не обнаружено, а унести оружие с собой было бы для убийцы обременительно, разве что оно очень маленькое и потому не привлекло внимания.

– Возможно, оно, напротив, очень большое и потому не привлекло внимания, – произнес маленький священник со странным, отрывистым смешком.

Услышав такую нелепость, Гилдер повернулся и сурово спросил отца Брауна, как понимать его слова.

– Я сам знаю, что выразился глупо, – сказал отец Браун со смущением. – Получается как в волшебной сказке. Но бедняга Армстронг убит дубиной, которая по плечу только великану, большой зеленой дубиной, очень большой и потому незаметной, ее обычно называют землей. Он расшибся насмерть вот об эту зеленую насыпь, на которой мы сейчас стоим.

– Куда это вы клоните? – с живостью спросил сыщик.

Отец Браун обратил круглое, как луна, лицо к фасаду дома и поглядел вверх, близоруко сощурился. Проследив за его взглядом, все увидели на самом верху этой глухой части дома, в мезонине, распахнутое настежь окно.

– Разве вы не видите, – сказал он, указывая на окно пальцем с какой-то детской неловкостью, – что он упал вон оттуда?

Гилдер, насупясь, глянул на окно и произнес:

– Да, это вполне вероятно. Но я все-таки не понимаю, откуда у вас такая уверенность.

Отец Браун широко открыл серые глаза.

– Ну как же, – сказал он, – ведь на ноге у трупа обрывок веревки. Разве вы не видите, что вон там из окна свисает другой обрывок?

На такой высоте все предметы казались крохотными пылинками или волосками, но проныцательный старый сыщик остался доволен объяснением.

– Вы правы, сэр, – сказал он отцу Брауну. – Очко в вашу пользу.

Едва он успел вымолвить эти слова, как экстренный поезд, состоявший из единственного вагона, преодолел поворот слева от них, остановился и изверг из себя целый отряд полисменов, среди которых виднелась отталкивающая рожа Магнуса, беглого лакея.

– Вот это ловко, черт возьми! Его уже арестовали! – вскричал Гилдер и устремился вперед с неожиданной живостью.

– А деньги были при нем? – крикнул он первому полисмену.

Тот посмотрел ему в лицо несколько странным взглядом и ответил:

– Нет. – Помолчав, он добавил: – По крайней мере, здесь их нету.

– Кто будет инспектор, осмелюсь спросить? – сказал меж тем Магнус.

Едва он заговорил, все сразу поняли, почему его голос остановил поезд. Внешне это был человек мрачного вида, с прилизанными черными волосами, с бесцветным лицом, чуть раскосыми, как у жителей Востока, глазами и тонкогубым ртом. Его происхождение и настоящее имя вряд ли были известны с тех пор, как сэр Арон «спас» его от работы официанта в лондонском ресторане, а также (как утверждали некоторые) заодно и от других, куда более неблагоприятных обстоятельств. Но голос у него был столь же впечатляющий, сколь лицо казалось бесстрастным. То ли из-за тщательности, с которой он выговаривал слова чужого языка, то ли из предупредительности к хозяину (который был глуховат) речь Магнуса отличалась необычайной резкостью и пронзительностью, и когда он заговорил, окружающие чуть не подскочили на месте.

– Я так и знал, что это случится, – произнес он во всеуслышание, вызывая и невозмутимо. – Мой покойный хозяин потешался надо мной, потому что я ношу черную одежду, но я всегда говорил, что зато мне не надо будет надевать траур, когда наступит время идти на его похороны.

Он сделал быстрое, выразительное движение руками в черных перчатках.

– Сержант, – сказал инспектор Гилдер, с бешенством уставившись на черные перчатки. – Почему этот негодяй до сих пор гуляет без наручников? Ведь сразу видно, что перед нами опасный преступник.

– Позвольте, сэр, – сказал сержант, на лице которого застыло бессмысленное удивление. – Я не уверен, что мы имеем на это право.

– Как прикажете вас понимать? – резко спросил инспектор. – Разве вы его не арестовали?

Тонкогубый рот тронула едва уловимая презрительная усмешка, и тут, словно вторя этой издевке, раздался свисток подходящего поезда.

– Мы арестовали его, – сказал сержант серьезно, – в тот самый миг, когда он выходил из полицейского участка в Хайгейте, где передал все деньги своего хозяина в руки инспектора Робинсона.

Гилдер поглядел на лакея с глубочайшим изумлением.

– Чего ради вы это сделали? – спросил он у Магнуса.

– Ну, само собой, чтоб деньги не попали в руки преступника, а были в целости и сохранности, – ответил тот с невозмутимым спокойствием.

– Без сомнения, сказал Гилдер, – деньги сэра Арона были бы в целости и сохранности, если бы вы передали их его семейству.

Последние слова потонули в грохоте колес, и поезд, лязгая и подрагивая, промчался мимо; но этот адский шум, то и дело раздававшийся подле злополучного дома, был перекрыт голосом Магнуса, чьи слова прозвучали явственно и гулко, как удары колокола:

– У меня нет оснований доверять семейству сэра Арона.

Все присутствующие замерли на месте, ощутив, что некто, бесшумно, как призрак, появился рядом; и Мертон ничуть не удивился, когда поднял голову и увидел поверх плеча отца Брауна бледное лицо дочери Армстронга. Она была еще молода и хороша собою, вся светилась чистотой, но каштановые ее волосы заметно поблекли и потускнели, а кое-где в них даже просвечивала седина.

– Будьте поосторожней в выражениях, – сердито сказал Ройс, – вы напугали мисс Армстронг.

– Смею надеяться, что мне это удалось, – отозвался Магнус своим зычным голосом.

Пока девушка непонимающе глядела на него, а все остальные предавались удивлению, каждый на свой лад, он продолжал:

– Я как-то привык к тому, что мисс Армстронг частенько трясется. Вот уже много лет у меня на глазах ее время от времени бьет дрожь. Одни говорили, будто она дрожит от холода, другие утверждали, что это со страху, но я-то знаю, что дрожала она от ненависти и низменной злобы – этих демонов, которые сегодня утром наконец восторжествовали. Если бы не я, ее след

бы уже простыл, сбежала бы со своим любовником и со всеми денежками. С тех самых пор, как мой покойный хозяин не позволил ей выйти за этого гнусного пьянчугу...

– Замолчите, – сказал Гилдер сурово. – Все эти ваши выдумки или подозрения о семейных делах нас не интересуют. И если у вас нет каких-либо вещественных доказательств, то голословные утверждения...

– Ха! Я представлю вам вещественные доказательства, – прервал его Магнус резким голосом. – Извольте, инспектор, вызвать меня в суд, и я не премину сказать правду. А правда вот она: через секунду после того, как окровавленного старика вышвырнули в окно; я бросился в мезонин и увидел там его дочку, она валялась в обмороке на полу, и в руке у нее был кинжал, красный от крови. Позвольте мне заодно передать властям вот эту штуку.

Тут он вынул из заднего кармана длинный нож с роговой рукояткой и красным пятном на лезвии и вручил его сержанту. Потом он снова отступил в сторону, и щелки его глаз почти совсем заплыли на пухлой китайской физиономии, сиявшей торжествующей улыбкой.

При виде этого Мертона едва не стошнило; он сказал Гилдеру вполголоса:

– Надеюсь, вы поверите на слово не ему, а мисс Армстронг?

Отец Браун вдруг поднял лицо, необычайно свежее и розовое, словно он только что умылся холодной водой.

– Да, – сказал он, источая неотразимое простодушие. – Но разве слово мисс Армстронг непременно должно противоречить слову свидетеля?

Девушка испустила испуганный, отрывистый крик; все взгляды обратились на нее. Она окаменела, словно разбитая параличом; только лицо, обрамленное тонкими каштановыми волосами, оставалось живым, потрясенное и недоумевающее. Она стояла с таким видом, как будто на шее у нее затягивалась петля.

– Этот человек, – веско промолвил мистер Гилдер, – недвусмысленно заявляет, что застал вас с ножом в руке, без чувств, сразу же после убийства.

– Он говорит правду, – отвечала Элис.

Когда присутствующие опомнились, они увидели, что Патрик Ройс, пригнув массивную голову, вступил в середину круга, после чего произнес поразительные слова:

– Ну что ж, если мне все равно пропадать, я сперва хоть отведу душу.

Его широкие плечи всколыхнулись, и железный кулак нанес сокрушительный удар по благодушной восточной физиономии мистера Магнуса, который тотчас же распростерся на лужайке плашмя, словно морская звезда. Несколько полисменов немедленно схватили Ройса; остальным же от растерянности почудилось, будто все разумное летит в тартарары и мир превращается в сцену, на которой разыгрывается нелепое шутовское зрелище.

– Бросьте эти штучки, мистер Ройс, – властно сказал Гилдер. – Я арестую вас за оскорбление действием.

– Ничего подобного, – возразил ему Ройс голосом, гулким, как железный гонг. – Вы арестуете меня за убийство.

Гилдер с тревогой взглянул на поверженного; но тот уже сел, вытирая редкие капли крови с почти не поврежденного лица, и потому инспектор только спросил отрывисто:

– Что это значит?

– Этот малый сказал истинную правду, – объяснил Ройс. – Мисс Армстронг лишилась чувств и упала с ножом в руке. Но она схватила нож не для того, чтобы убить своего отца, а для того, чтобы его защитить.

– Защитить! – повторил Гилдер серьезно. – От кого же?

– От меня, – отвечал Ройс.

Элис взглянула на него ошеломленно и испуганно; потом проговорила тихим голосом:

– Ну что ж, в конце концов я рада, что вы не утратили мужества.

Мезонин, где была комната секретаря (довольно тесная келья для такого исполинского отшельника), хранил все следы недавней драмы. Посреди комнаты, на полу, валялся тяжелый револьвер, по-видимому, кем-то отброшенный в сторону; чуть левее откатилась к стене бутылка из-под виски, откупоренная, но не допитая. Тут же лежала скатерть, сорванная с маленького столика и растоптанная, а обрывок веревки, такой же самой, какую обнаружили на трупе, был переброшен через подоконник и нелепо болтался в воздухе. Осколки двух разбитых вдребезги ваз усеивали каминную полку и ковер.

– Я был пьян, – сказал Ройс; простота, с которой держался этот преждевременно состарившийся человек, выглядела трогательно, как первое раскаяние нашалившего ребенка.

– Все вы слышали про меня, – продолжал он хриплым голосом. – Всякий слышал, как началась моя история, и теперь она, видимо, кончится столь же печально. Некогда я слыл умным человеком и мог бы быть счастливым: Армстронг спас остатки моей души и тела, вытащил меня из кабаков и всегда по-своему был ко мне добр, бедняга! Только он ни в коем случае не позволил бы мне жениться на Элис, и надо прямо признать, что он был прав. Ну а теперь сами делайте выводы, не принуждайте меня касаться подробностей. Вон там, в углу, моя бутылка с виски, выпитая наполовину, а вот мой револьвер на ковре, уже разряженный. Веревка, которую нашли на трупе, лежала у меня в ящике, и труп был выброшен из моего окна. Вам незачем пускаться по моему следу сыщиков, чтобы проследить мою трагедию: она не нова в этом проклятом мире. Я сам обрекаю себя на виселицу, и, видит Бог, этого вполне достаточно!

Инспектор сделал едва уловимый жест, и полисмены окружили дюжего человека, готовясь увести его незаметно; но им это не вполне удалось ввиду поразительного появления отца Брауна, который внезапно переступил порог, двигаясь по ковру на четвереньках, словно он совершал некий кощунственный обряд. Совершенно равнодушный к тому впечатлению, которое его поступок произвел на окружающих, он остался в этой позе, но повернул к ним умное круглое лицо, похожий на забавное четвероногое существо с человеческой головой.

– Послушайте, – сказал он добродушно, – право же, это ни в какие ворота не лезет, согласитесь сами. Сначала вы заявили, что не нашли оружия. Теперь же мы находим его в избытке: вот нож, которым можно зарезать, вот веревка, которой можно удавить, и вот револьвер, а в конечном счете старик разбился, выпав из окна. Нет, я вам говорю, это ни в какие ворота не лезет. Это уж слишком.

И он тряхнул опущенной головой, словно конь на пастбище.

Инспектор Гилдер, преисполненный решимости, открыл рот, но не успел слова вымолвить, потому что забавный человек, стоявший на четвереньках, продолжал свои пространные рассуждения:

– И вот перед нами три немыслимых обстоятельства. Первое – это дыры в ковре, куда угодили шесть пуль. С какой стати кому-то понадобилось стрелять в ковер? Пьяный дырявит голову врагу, который скалит над ним зубы. Он не ищет повода ухватить его за ноги или взять приступом его домашние туфли. А тут еще эта веревка...

Оторвавшись от ковра, отец Браун поднял руки, сунул их в карманы, но продолжал стоять на коленях.

– В каком умопостижимом опьянении может человек захлестывать петлю на чьей-то шее, а в результате захлестнуть ее на ноге? И в любом случае Ройс не был так уж сильно пьян, иначе он сейчас спал бы беспробудным сном. Но самое явное свидетельство – это бутылка с виски. По-вашему выходит, что алкоголик дрался за бутылку, одержал верх, потом швырнул ее в угол, причем половину пролил, а ко второй половине даже не притронулся. Смее заверить, никакой алкоголик так не поступит.

Он неуклюже встал на ноги и с явным сожалением сказал мнимому убийце, который оговорил сам себя:

– Мне очень жаль, любезнейший, но ваша версия, право же, неудачна.

– Сэр, – тихонько сказала Элис Армстронг священнику, – вы позволите поговорить с вами наедине?

Услышав эту просьбу, словоохотливый пастырь прошел через лестничную площадку в другую комнату, но прежде, чем он успел открыть рот, девушка заговорила сама, и в голосе ее звучала неожиданная горечь.

– Вы умный человек, – сказала она, – и вы хотите выручить Патрика, я знаю. Но это бесполезно. Подоплека у этого дела прескверная, и чем больше вам удастся выяснить, тем больше будет улик против несчастного человека, которого я люблю.

– Почему же? – спросил Браун, твердо глядя ей в лицо.

– Да потому, – ответила она с такой же твердостью, – что я своими глазами видела, как он совершил преступление.

– Так! – невозмутимо сказал Браун. – И что же именно он сделал?

– Я была здесь, в этой самой комнате, – объяснила она. – Обе двери были закрыты, но вдруг раздался голос, какого я не слыхала в жизни, голос, похожий на рев. «Ад! Ад! Ад!» – выкрикнул он несколько раз кряду, а потом обе двери содрогнулись от первого револьверного выстрела. Прежде чем я успела распахнуть эту и ту двери, грянули три выстрела, а потом я увидела, что комната полна дыма и револьвер в руке моего бедного Патрика тоже дымится, и я видела, как он выпустил последнюю страшную пулю. Потом он прыгнул на отца, который в ужасе прижался к оконному косяку, сцепился с ним и попытался задушить его веревкой, которую накинул ему на шею, но в борьбе веревка соскользнула с плеч и упала к ногам. Потом она захлестнула одну ногу, а Патрик, как безумный, поволок отца. Я схватила с пола нож, кинулась между ними и успела перерезать веревку, а затем лишилась чувств.

– Понятно, – сказал отец Браун все с той же бесстрастной любезностью. – Благодарю вас.

Девушка поникла под бременем тяжелых воспоминаний, а священник спокойно ушел в соседнюю комнату, где оставались только Гилдер и Мертон с Патриком Рейсом, который в наручниках сидел на стуле. Отец Браун скромно сказал инспектору:

– Вы позволите мне поговорить с арестованным в вашем присутствии? И нельзя ли на минутку освободить его от этих никчемных наручников?

– Он очень силен, – сказал Мертон вполголоса. – Зачем вы хотите снять наручники?

– Я хотел бы, – смиренно произнес священник, – удостоиться чести пожать ему руку.

Оба сыщика уставились на отца Брауна в недоумении, а тот продолжал:

– Сэр, вы не расскажете им, как было дело?

Сидевший на стуле покачал взъерошенной головой, а священник нетерпеливо обернулся.

– Тогда я расскажу сам, – проговорил он. – Человеческая жизнь дороже посмертной репутации. Я намерен спасти живого, и пускай мертвые хоронят своих мертвецов⁴³.

Он подошел к роковому окну и, помаргивая, продолжал:

– Я уже говорил вам, что в данном случае перед нами слишком много оружия и всего лишь одна смерть. А теперь я говорю, что все это не служило оружием и не было использовано, дабы причинить смерть. Эти ужасные орудия – петля, окровавленный нож, разряженный револьвер – служили своеобразному милосердию. Их употребили отнюдь не для того, чтобы убить сэра Арона, а для того, чтобы его спасти.

– Спасти! – повторил Гилдер. – Но от чего?

– От него самого, – сказал отец Браун. – Он был сумасшедший и пытался наложить на себя руки.

– Как? – вскричал Мертон, полный недоверия. – А наслаждение жизнью, которое он исповедовал?

⁴³ Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Мф., 8, 22; Лк., 9, 60.

– Это жестокое вероисповедание, – сказал священник, выглядывая за окно. – Почему бы ему не поплакать, как плакали некогда его предки? Лучшим его намерениям не суждено было осуществиться, душа стала холодной, как лед: под веселой маской скрывался пустой ум безбожника. Наконец, для того, чтобы поддержать свою репутацию весельчака, он снова начал выпивать, хотя бросил это дело давным-давно. Но в подлинном трезвеннике неистребим ужас перед алкоголизмом: такой человек живет в прозрении и ожидании того психологического ада, от которого предостерегал других. Ужас этот безвременно погубил беднягу Армстронга. Сегодня утром он был в невыносимом состоянии, сидел здесь и кричал, что он в аду, таким безумным голосом, что собственная дочь его не узнала. Он безумно жаждал смерти и с редкостной изобретательностью, свойственной одержимым людям, разбросал вокруг себя смерть в разных обличьях: петлю-удавку, револьвер своего друга и нож. Ройс случайно вошел сюда и действовал немедля. Он швырнул нож на ковер, схватил револьвер и, не имея времени его разрядить, выпустил все пули одна за другой прямо в пол. Но тут самоубийца увидел четвертое обличье смерти и метнулся к окну. Спаситель сделал единственное, что оставалось, – кинулся за ним с веревкой и попытался связать его по рукам и по ногам. Тут-то и вбежала несчастная девушка и, не понимая, из-за чего происходит борьба, попыталась освободить отца. Сперва она только полоснула ножом по пальцам бедняги Ройса, отсюда и следы крови на лезвии. Вы, разумеется, заметили, что, когда он ударил лакея, кровь на лице была, хотя никакой раны не было? Перед тем как упасть без чувств, бедняжка успела перерезать веревку и освободить отца, а он выпрыгнул вот в это окно и низвергся в вечность.

Наступило долгое молчание, которое наконец нарушило звяканье металла – это Гилдер разомкнул наручники, сковывавшие Патрика Ройса, и заметил:

– Думается мне, сэр, вам следовало сразу сказать правду. Вы и эта юная особа стоите больше, чем некролог Армстронга.

– Плевать мне на этот некролог! – грубо крикнул Ройс. – Разве вы не понимаете – я молчал, чтобы скрыть от нее!

– Что скрыть? – спросил Мертон.

– Да то, что она убила своего отца, болван вы этакий! – рявкнул Ройс. – Ведь когда б не она, он был бы сейчас жив. Если она узнает, то сойдет с ума от горя.

– Право, не думаю, – заметил отец Браун, берясь за шляпу. – Пожалуй, я лучше скажу ей сам. Даже роковые ошибки не отравляют жизнь так, как грехи. И во всяком случае, мне кажется, впредь вы будете гораздо счастливее. А я сейчас должен вернуться в школу для глухих.

Когда он вышел на лужайку, где трава колыхалась от ветра, его окликнул какой-то знакомый из Хайгейта:

– Только что приехал следователь. Сейчас начнется дознание.

– Я должен вернуться в школу, – сказал отец Браун. – К сожалению, мне недосуг, и я не могу присутствовать при дознании.

Мудрость отца Брауна

Отсутствие мистера Кана

Пер. Н. Трауберг

Кабинет Ориона Гуда, видного криминолога и консультанта по нервным и нравственным расстройствам, находился в Скарборо, и за окнами его – как и за другими огромными и светлыми окнами – сине-зеленой мраморной стеной стояло Северное море. В таких местах морской вид однообразен, как орнамент; а здесь и в комнатах царил невыносимый, поистине морской порядок. Не надо думать, что речь идет о бедности или скуке, – и роскошь и даже поэзия были там, где им положено. Роскошь была тут – на столике стояло коробок десять самых лучших сигар, но те, что покрепче, лежали у стены, а слабые – поближе. Был здесь и набор превосходных напитков, но люди с воображением утверждали, что уровень виски, бренди и рома никогда не понижался. Была и поэзия – в левом углу стояло столько же английских классиков, сколько стояло в правом английских и прочих филологов. Но если кто-нибудь брал оттуда Шелли или Чосера, пустое место зияло, словно вырванный передний зуб. Нельзя сказать, что книги не читали – читали, наверное; и все же казалось, что они прикреплены цепью, как Библия в старых церквях⁴⁴. Доктор Гуд чтит свою библиотеку, как чтут библиотеки публичные. И если профессорская строгость охраняла стихи и бутылки, нечего и говорить, с каким торжественным почтением служили здесь ученым трудам и хрупким, как в сказке, ретортам.

Доктор Орион Гуд мерил шагами пространство, ограниченное (как говорят в учебниках) Северным морем с востока, а с запада – рядами книг по социологии и криминалистике. Он был в бархатной куртке, как художник, но носил ее без всякой небрежности. Волосы его сильно поседел, но не поредели; лицо было худое, но бодрое. И он и его жилище казались и тревожными, и строгими, как море, у которого он (ради здоровья, конечно) построил себе дом.

Судьба, по-видимому шутки ради, впустила в длинные, строгие, очерченные морем комнаты человека, до удивления непохожего на них и на их владельца. В ответ на вежливое, краткое «прошу» дверь открылась вовнутрь, и в кабинет вошел бесформенный человечек, безуспешно борющийся с зонтиком и шляпой. Зонт был черный, старый, давно не ведавший починки; шляпа – широкополая, редкая в этих краях; владелец же их казался воплощением незащитности.

Хозяин со сдержанным удивлением глядел на него, как глядел бы на громоздкое, безвредное чудовище, выползшее из моря. Пришелец смотрел на хозяина, сияя и отдуваясь, словно толстая служанка, втиснувшаяся в омнибус; как она, он светился наивным торжеством и никак не мог управиться с вещами. Когда он сел в кресло, шляпа упала, упал и зонтик; он наклонился, чтоб их поднять, но круглое радостное лицо было обращено к хозяину.

– Моя фамилия Браун, – проговорил он. – Простите меня, пожалуйста. Я из-за Макнэбов. Говорят, вы в этих делах помогаете. Простите, если что не так.

Он изловил шляпу и как-то смешно кивнул, словно радовался, что все в порядке.

– Я не совсем понимаю, – сказал ученый сдержанно и холодно. – Боюсь, вы ошиблись адресом. Я – доктор Гуд. Я пишу и преподаю. Действительно, несколько раз полиция обращалась ко мне по особо важным вопросам...

– Это как раз очень важно! – прервал его гость-коротышка. – Вы подумайте, ее мать не дает им пожениться! – И он откинулся в кресле, явно торжествуя.

⁴⁴...Библия в старых церквях. – Чтобы уберечь дорогой оклад от церковных воров, Библию прикрепляли цепью к кафедре. – *Примеч. пер.*

Ученый мрачно сдвинул брови. В глазах его поблескивал гнев, а может, и смех.

– Понимаете, они хотят пожениться, – говорил человек в странной шляпе. – Мэгги Макнэб и Тодхантер хотят пожениться. Что на свете важнее?

Профессорские триумфы отняли у Гуда многое – быть может, здоровье, быть может, веру; однако он еще умел дивиться нелепости. При последнем доводе что-то щелкнуло у него внутри, и он опустил в кресло, улыбаясь немного насмешливо, как врач на приеме.

– Мистер Браун, – серьезно сказал он, – прошло четырнадцать с половиной лет с тех пор, как со мной советовались по частному вопросу. Тогда дело шло о попытке отравить президента Франции на банкете у лорд-мэра. Сейчас, как я понимаю, дело идет о том, годится ли в невесты некоему Тодхантеру ваша знакомая по имени Мэгги. Что ж, мистер Браун, я люблю риск. Берусь вам помочь. Семейство Макнэбов получит совет, такой же ценный, как тот, что получили французский президент и английский король. Нет, лучший – на четырнадцать лет. Сегодня я свободен. Итак, что же у вас случилось?

Гость-коротышка поблагодарил его искренне, но как-то несерьезно (так благодарят соседа, передавшего спички, а не прославленного ботаника, который обещал найти редчайшую травку), и сразу, без перерыва, перешел к рассказу.

– Я уже говорил, моя фамилия – Браун. Служу я в католической церковке, вы ее видели, наверное, – там, за мрачными улицами, в северном конце. На самой последней и самой мрачной улице, которая идет вдоль моря, словно плотина, живет одна моя прихожанка, миссис Макнэб, женщина достойная и довольно строптивая. Она сдает комнаты, и у нее есть дочь, и эта дочь, и она, и постояльцы... ну, каждый по-своему прав. Сейчас там только один жилец, зовут его Тодхантер. С ним еще больше хлопот, чем с другими. Он хочет жениться на дочери.

– А дочь? – спросил Гуд, сильно забавляясь. – Чего же хочет она?

– Как – чего? – воскликнул священник и выпрямился в кресле. – Выйти за него, конечно!

В том-то и сложность.

– Да, загадка страшная, – сказал доктор Гуд.

– Джеймс Тодхантер, – продолжал священник, – человек хороший, насколько мне известно, а известно о нем немного. Он невысокий, смуглый, веселый, ловкий, как обезьяна, бритый, как актер, и вежливый, как чичероне. Денег у него хватает, но никому не известно, чем он занимается. Миссис Макнэб, женщина мрачная, уверена, что чем-нибудь ужасным, скорее всего – делает бомбы. Наверное, бомбы эти очень смирные – он, бедняга, просто сидит часами взаперти. Он говорит, что это временно, так надо, до свадьбы все разъяснится. Больше ничего и нету, но миссис Макнэб твердо знает еще много вещей. Вам ли объяснять, как быстро порастают легендой пути неведения! Рассказывают, что из-за дверей слышны два голоса, а когда дверь открыта – жилец всегда один. Рассказывают, что человек в цилиндре вышел из тумана, чуть ли не из моря, тихо пересек пляж и садик и говорил с Тодхантером у заднего окна. Кажется, беседа обернулась ссорой – хозяин захлопнул окно, а гость растворился в тумане. Семья в это верит, но у миссис Макнэб есть и своя версия: тот, «другой» (кем бы он ни был), выходит по ночам из сундука, который днем заперт. Как видите, за дверью скрыты чудеса и чудища, достойные «Тысячи и одной ночи». А маленький жилец в приличном пиджаке точен и безвреден, как часы. Он аккуратно платит, он не пьет, он терпелив и кроток с детьми и может развлекать их без конца, а главное, он пленил старшую, и она готова хоть сейчас за него замуж.

Люди, преданные важной теории, любят применять ее к пустякам. Знаменитый ученый не без гордости снизошел к простодушию священника. Усевшись поудобнее, он начал рассеянным тоном лектора:

– В любом, даже ничтожном, случае следует учитывать законы природы. Тот или иной цветок может к зиме и не увянуть, но цветы вянут. Та или иная песчинка может устоять перед прибоем, но прибой – есть. Для ученого история – цепь сменяющих друг друга миграций. Людские потоки приходят, затем – исчезают, как исчезают осенью мухи или птицы. Основа

истории – раса. Она порождает и веры, и споры, и законы. Один из лучших примеров тому – дикая, исчезающая раса, которую мы зовем кельтской. К ней принадлежат ваши Макнэбы. Кельты малорослы, смуглы, ленивы и мечтательны; они легко принимают любое суеверие – скажем (простите, конечно), то, которому учит ваша церковь. Надо ли удивляться, если такие люди, убаюканные шумом моря и звуками органа (простите!), объяснят фантастическим образом самые обычные вещи? Круг ваших забот ограничен, и вам видна только эта конкретная хозяйка, перепуганная выдумкой о двух голосах и выходе из моря. Человек же науки видит целый клан таких хозяек, одинаковых, словно птицы одной стаи. Он видит, как тысячи старух в тысячах домов вливают ложку кельтской горечи в чайную чашку соседки. Он видит...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.